

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000048151602



Ма-ма мы-ла ра-му.

НОВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

Мама мыла раму

*НОВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
2022*

УДК 822.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Р82

Редактор Андрей Курилкин
Дизайн Дарья Ярнамбен, Юрий Остроменцкий

Рубинштейн Л.С.
Р82 Мама мыла раму
М.: Новое издательство, 2022. — 146 с.

ISBN 978-5 98379-268-5

«Мама мыла раму» — мемуарная проза Льва Рубинштейна о детстве и отрочестве в форме комментария к его собственному, уже классическому «на-точному» тексту 1987 года с тем же названием. Мама мыла раму. Папа купил телевизор. Дул ветер. Зою ужалила оса. И т.д.

УДК 822.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5 98379-268-5

© Новое издательство, 2022

Сочиняя свои поэтические тексты, я довольно регулярно использую элементы и приметы различных маргинальных, или «служебных», жанров словесности, неизменно обнаруживая в их структуре и фактуре очевидный для меня поэтический потенциал.

Когда, например, я читаю инструкции по использованию только что приобретенных бытовых приборов, пытаюсь вникнуть в их, так сказать, прагматику, я постоянно ловлю себя на том, что я настолько увлекаюсь самой музыкой этих текстов, их ритмом, порядком слов, завораживающей, незаметно вводящей в транс магией бесконечных числительных и аббревиатур, что само практическое содержание предательски ускользает от меня, и я начинаю подозревать самого себя — боюсь, что не без основания, — в сугубой тупости и неспособности усвоить простейшие вещи.

Такие словесные конструкции, как «Рукоятку „С“ установить в положение „4“ и медленно повернуть против часовой стрелки до слабого щелчка, после чего установить ее в положение „5“ и нажать на кнопку „пуск“», воспринимаются мной не как руководство к действию, что было бы, в общем-то, естественно, а исключительно как фрагменты поэтической речи, и я ничего не могу с этим поделать.

То же касается, например, текстов каких-нибудь дидактических материалов, школьных задачников, сценических ремарок, режиссерских пометок на полях сценария, экзаменационных билетов, расписаний пригородных поездов, сонников и всего такого прочего.

Ну и комментарий, разумеется, — куда же без него!

До сих пор спорят о том, помогает или, напротив, мешает пониманию поэтического текста его комментирование. А спорить, мне кажется, имеет смысл не об этом, а о том, что такое в принципе «понимание».

Считается, что комментарий воссоздает исторический, биографический, чувственный и бытовой контекст произведения, позволяющий лучше и полнее его понять и воспринять.

Можно и так сказать. Но можно сказать, что контекст воссоздается не комментатором, а самим активным читателем, когда он включает механизм

собственного воображения и в свободном полете фантазирует и рефлексивирует на тему «что это все может означать».

Я, например, с давних пор ловлю себя на том, что *непонятное* в искусстве вообще и в поэзии в частности мне куда интереснее и, главное, *понятнее*, чем *понятное*.

При этом, ничуть не противореча сказанному, я хочу сказать, что практически с детства обожал я жанр комментария. Да и теперь я считаю его одним из актуальнейших жанров современной словесности, то есть самой что ни есть литературой, причем именно *художественной*.

Можно пойти еще дальше и предположить с высокой степенью убежденности, что современная словесность и есть один сплошной комментарий — комментарий ко всему ранее написанному, сказанному, прочитанному, услышанному и увиденному.

Современный литературный текст — это практически всегда текст о тексте. Как и критика, как и литературоведческое исследование, как и комментарий.

Комментарий мне лично нужен вовсе не для того, чтобы он мне объяснил, о чем на самом деле написан комментируемый текст. Мне не надо, чтобы комментатор объяснил мне, что — если выражаться формулой Зощенко — «автор хотел сказать своим произведением».

Комментарий мне интересен (или не интересен) как самодостаточный текст. И, кстати, структурные особенности этого жанра давно уже используются как прием, ставший вполне респектабельным — чтобы не сказать тривиальным. И он имеет свою собственную почтенную историю и традицию.

Тут можно, конечно, вспомнить и о сочинениях крупных форм, написанных как комментарии к вымышленным текстам. Их много, и среди них имеются общепризнанные шедевры.

Комментирование же собственных сочинений — занятие, в общем-то, весьма уязвимое и, прямо скажем, более или менее смехотворное. Комментатор собственного сочинения заведомо ставит себя в довольно глупое положение, напоминая человека, который, рассказав анекдот, тут же начинает объяснять, в чем его суть и что в этом анекдоте смешного.

В моем же случае такие попытки могут показаться и вовсе тавтологичными.

Впрочем, почему бы и нет.

Это я, как вы, конечно, догадываетесь, постепенно подвожу к тому, что, противореча всему сказанному, я зачем-то ощутил необходимость написать комментарий к одному из своих текстов, а именно вот к этому самому.

Ощувив эти властные и настойчивые толчки, я долго гнал их от себя, полагая — уверен, что

справедливо, — что этот мой текст, как, впрочем, и все остальные, ничуть не нуждается в комментировании, тем более — в моем собственном...

Но эта внутренняя необходимость не желала отступать, и я все же сдался.

В общем, я сел писать комментарий. И вот я его пишу.

Но сначала я предлагаю — пока не поздно — прочесть текст до всяких моих комментариев, неизбежно лишаящих его блаженной невинности. А потом еще раз, но уже — после.

И посмотрим, что из этого получится. Интересно же, разве нет?

Читаем.



1.

Мама мыла раму

2.

Папа купил телевизор

3.

Дул ветер

4.

Зою ужалила оса

5.

Саша Смирнов сломал ногу

6.

Боря Никитин разбил голову камнем

7.

Пошел дождь

8.

Брат дразнил брата

9.

Молоко убежало

10.

Первым словом было слово «колено»

11.

Юра Степанов смастерил шалаш

12.

Юлия Михайловна была

13.

Вова Авдеев дрался

14.

Таня Чирикова — дура

15.

Жених Гали Фоминой — однорукий

16.

Сергею Александровичу провели телефон

17.

Инвалид сгорел в машине

18.

Мы ходили в лес

19.

У бабушки был рак

20.

Бабушка умерла во сне

21.

Я часто видел бабушку во сне

22.

Я очень боялся умереть во сне

23.

Игорь Дудкин был похож на грузина

24.

Сергей Александрович шутил с папой

25.

У Сорокиных были сливы,
но был и Джек

26.

Ребята играли в волейбол на полянке

27.

Глеб Вышинский приносил мышь

28.

Володя Волошенко врал

29.

Елена Илларионовна знала
Сашу Черного

30.

То и дело падало напряжение

31.

В кино шел интересный кинофильм

32.

Брат заводил проигрыватель

33.

Папа громко кричал

34.

Буян гремел цепью

35.

Саша Смирнов завидовал,
какие у меня марки

36.

Он умел шевелить ушами

37.

Потом и я научился

38.

Полина Мироновна сказала,
что ее Борька — тупица

39.

Мужа Клавдии Ефимовны звали
Михаил Борисович

40.

Раиса Савельевна работала в сороковом
гастрономе экономистом

41.

Юрка Винников был ее сыном

42.

Ксения Алексеевна была совсем простая,
но очень хорошая женщина

43.

Дом, где жили Павлик и Рита Ароновы,
был соседним

44.

Таня Чирикова, кстати говоря,
тоже жила в этом доме

45.

Имени мужа Райки Гусевой
я, к сожалению, не запомнил

46.

Дул ветер

47.

Брат рассказывал, что делают мама
и папа в соседней комнате

48.

Также росли щавель, редиска
и лук-порей

49.

У Славы Новожилова был шрам
от проволочной клюшки

50.

Пошел дождь

51.

Я боялся куклы Тани Белецкой

52.

Отец Юры Степанова был беззубый,
мать толстая, а сестра придурочная

53.

Сестру звали Юля

54.

У меня не было сестры, а был брат

55.

Брат сказал, что сегодня умер Сталин

56.

Брат меня ударил, потому
что я смеялся и кривлялся

57.

Папа бросил курить

58.

Мы мечтали, чтобы скорее была война

59.

Мы любили китайцев

60.

Мне не разрешали переходить
через дорогу

61.

Однажды я чуть не угорел

62.

Галя Фомина училась в педагогическом институте. Когда я ее спросил, почему идет дождь, она стала объяснять и начала так:
«В нашей стране много морей и рек...»
Дальше я не понял и не запомнил

63.

Саша Смирнов имел привычку
пердеть в помещении

64.

Слышно не было, но сильно воняло

65.

Он не признавался, что это он

66.

Я учился кататься на велосипеде

67.

Я стеснялся сказать, как меня зовут

68.

Однажды я увидел такую огромную
гусеницу, что не могу забыть ее до сих пор

69.

Меня укачивало и рвало

70.

Однажды, войдя без стука в комнату
Гали Фоминой, я увидел впервые

71.

Однажды, одержимый
ужасными предчувствиями,
стремительно вбежал

72.

Пришли, но с большим опозданием

73.

Всю ночь бушевал ветер,
также была и гроза

74.

Была ужасная погода,
все изменялось и текло

75.

Из-за угла повеял ветер, принес
прохладу и тоску

76.

Ударил гром, возникла скука,
смятенье пенилось в груди

77.

Во тьме свистело и сверкало,
град в крышу страшно колотил

78.

Верхушки елей трепетали,
повисли тучи над крыльцом

79.

Вначале было как в начале,
но все закончилось концом

80.

Все было надо мной, как прежде,
но подо мной шаталась твердь

81.

Кружили, падали и плыли,
и уходили кто куда

82.

В тот день все было, как обычно

83.

Я встал, оделся...



Ну а теперь — собственно комментарий. Вот он.

Во-первых, считаю необходимым сказать, что текст был сочинен в 1987 году. Говорю это, будучи уверенным в том, что датировка любого современного текста является его равноправным значимым элементом.

Теперь — некоторые общие соображения.

Почему для комментирования я выбрал именно этот текст.

Всякие автобиографические вкрапления вообще свойственны многим моим сочинениям — как поэтическим, так и прозаическим. Этот же текст отличается от прочих еще и тем, что почти каждый его фрагмент вполне, так сказать, документален.

Те, кто хотя бы шапочно знаком с моей поэтической манерой, едва ли удивятся, заметив, что отдельные фрагменты текста связаны между собой лишь ритмически, будучи — вполне осознанно — лишены какого бы то ни было реального

или воображаемого нарративного или понятийного контекста.

Известно, что более или менее схожим образом часто поступают дети, не предполагающие, что кто-то может не знать того, что знают они.

Когда ребенок хочет рассказать взрослому о чем-нибудь, он, например, говорит: «Вчера Марина забыла стихотворение, а Ольга Владимировна рассердилась и сказала, чтобы Сережа вышел из комнаты, потому что он смешил Наташу».

Попытка выяснить у рассказчика, кто такие Марина, Ольга Владимировна, Сережа, Наташа, а также что за стихотворение забыла Марина, почему она его забыла, из какой комнаты был изгнан Сережа и каким способом он злобно смешил Наташу, как-то даже не корректна.

Ребенок страшно удивится тому, что вы не знаете таких очевидных вещей. Он будет раздосадован тем, что вы нарушаете стройный и динамичный ход повествования, убивая поэзию, которая в конце концов достовернее всякой так называемой правды жизни. И будет, в общем-то, прав.

Уже само название комментируемого текста и, соответственно, его начальный фрагмент, знакомый многим поколениям всех тех, кто учился когда-то в первом классе советской школы, призваны служить понятийным и стилистическим ключом к восприятию всего текста, построенного как че-

реда внешне не связанных между собой отдельных фраз, как бы лишенных общего контекста некоего более или менее стройного мемуарного повествования — повествования о коммунально-дачном детстве человека моего поколения. Фраз, чьи лексика, фразеология и синтаксис довольно ясно указывают на то, что их «автор», или, говоря по старинке, лирический герой, — это отрок восьми или девяти лет. В общем, этот текст написан в регистре и интонации школьного сочинения на тему — условно говоря — «Как я провел детство».

Ну а теперь — построчно. Точнее — пофрагментно.

Итак.

1.

Мама мыла раму

Все, кому посчастливилось учиться в советской школе в середине 50-х годов и с самого начала учебы открывать на первой странице букварь с изображением каких-то условных ровесников или ровесниц на обложке, на всю жизнь запомнили эту странную речевую конструкцию.

Но этот ностальгический эффект, а также неизбежные воспоминания об этом «Букваре» не очень то понятны и доступны людям других стран и, соответственно, языков.

Этот мой текст, как мне кажется, среди прочих моих текстов является абсолютным чемпионом в смысле количества переводов на другие языки. Он, по-видимому, представляется очень простым и очень доступным для перевода. Ну, казалось бы — весьма бесхитростный и простой, чтобы не сказать примитивный, — синтаксис, а также обилие собственных имен, которые и переводить даже не надо.

Однако уже в самом первом фрагменте затаилась косточка, о которую запросто можно сломать переводческий зуб.

Чаще всего эту «маму» с ее «рамой» переводят буквально, как «Мать мыла оконную раму». И получается полная чушь, лишенная какого бы то ни было ассоциативного наполнения.

Лишь моя французская переводчица, дама моего приблизительно поколения, переведшая довольно много моих текстов и этот в том числе, когда я объяснил ей, что этой довольно нелепой фразой начинались школьные буквари разных лет и десятилетий, включая, кажется, еще и до-революционные, сказала: «А! Я поняла! В наших букварях такой же — не по значению, но по назначению, что в данном случае гораздо важнее, — и тоже на протяжении очень многих лет была фраза „Papa fumait une pipe“, то есть „Папа курил трубку“».

Заметная содержательная недостаточность этой всем знакомой фразы как будто бы компенсировалась определенной фонетической аллитерационной насыщенностью. Каковая насыщенность плюс демонстративное небрежение планом содержания (какая мама? какую раму? зачем мыла? где? почему?) сообщали этой нарочито нелепой, казалось бы, конструкции никем не предусмотренный (хотя кто их знает) мантрический эффект.

Много лет спустя, уже во второй половине 80-х, когда на улицах советских городов стали появляться экзотического вида существа обоего пола, то есть пестро одетые и причудливо разукрашенные юноши и девушки, называемые кришнаитами, когда под ритмические звуки бубенчиков, колокольчиков и барабанчиков зазвучали на улицах и площадях «Харе Кришна! Харе Рама! Рама Кришна! Харе, Харе!», именно тогда появилась такая милая фольклорная шутка: «Мама мыла раму. Рама мыла Кришну. Кришна мыла харю».

Примерно тогда же, кстати, и был написан этот текст.

2.

Папа купил телевизор

Мой отец, сколько я его помню, всегда стремился идти в ногу с техническим прогрессом.

Он мог залезть в долги, но какой-нибудь рижский радиоприемник с зеленым глазком и заманчивыми названиями заграничных городов на бледно светящемся мониторе («Париж», «Лиссабон», «Монтевидео», «Калькутта», «Сидней») непременно оказывался в нашем доме.

Именно из этого радиоприемника доносились до меня звуки детских радиоспектаклей, именно оттуда донесся до меня торжественный и скорбный баритон Левитана, говорившего что-то непонятное про дыхание Чейна-Стокса.

Вот и телевизор появился в нашей семье довольно рано, кажется, в начале 50-х годов. Это был, естественно, КВН с открыточного формата экраном и линзой, наполненной дистиллированной водой. Он вещал всего два или три часа в сутки. Но какие это были три часа! Особенно для ребенка.

В нашей коммуналке телевизор был только у нас, и поэтому все соседи ходили к нам толпами смотреть все подряд — мультфильм «Золотая антилопа», китайский кинофильм «Красные семена», эстрадный концерт с участием Штепселя и Тарапуньки, художественный кинофильм «Сказание о земле Сибирской».

Про это «Сказание» говорили, что это чуть не первый в СССР цветной кинофильм. Но поскольку телевизоры тогда были только черно-



белые, это знание темно-серым комом повисало в плотном воздухе коммунальной жизни.

У моего дружка Саша Смирнова (а он, предупреждаю, будет не раз и не два появляться в этом тексте) тоже был телевизор. Мы и вообще постоянно ругались и дрались, но однажды мы поцапались так, что нас разнимали всем двором.

Было это так. Сашка сказал: «А у нас сегодня по телевизору будут показывать „Белоснежку и семь гномов“». — «А вот и врешь! — сказал я, — это у нас будут показывать „Белоснежку“». — «Нет у нас!» — «Нет у нас!»

И началось то самое, что пришлось разнимать всем двором. Нам просто и в голову не могла прийти такая глупость, что в двух разных телевизорах может быть одно и то же. Так, видимо, проявляла себя наша страсть к уникальности, к неповторимости. Тотальная унификация, нужда в мимикрии и склонность к конформизму настигли нас позже, уже в школе. И тогда мы уже никогда не удивлялись тому, что все везде одно и то же. А вот мирились мы с этим или нет, то это уже — кто как.

3.

Дул ветер

Ну, просто «дул ветер». Можно считать, что это такое сознательное квазилирическое клише, игра-

ющее здесь и дальше роль ритмообразующего рефрена. Ну, в общем, понятно.

4.

Зою ужалила оса

Вполне допускаю, что я это просто выдумал. Но мне тем не менее твердо запомнилось, что именно эта фраза была напечатана когда-то в школьных прописях. Там, впрочем, даже и без покусанной осой «Зою» было полно примеров, отмеченных повышенной депрессивностью, тревожностью и прочим «нуаром». Например: «Полина плачет», «Гоша ушибся» или «У Ньюры рана».

Еще, кстати, и поэтому, а не только по причине своего неисправимо кошмарного почерка, я ненавидел уроки чистописания.

5.

Саша Смирнов сломал ногу

Вот и снова этот Смирнов. У меня и на самом деле был приятель детства с таким именем. Потом, по мере своего непредусмотренного появления в различных моих текстах он все больше превращался в персонажа полуреального, полубеллетристического, становился постепенно обобщенным, собирательным «другом детства». Этот условный «Смирнов»



фигурирует не только в этом тексте, но и во многих последующих. Но в этом он появляется впервые.

В общем, реальный Саша Смирнов действительно однажды сломал ногу, спрыгнув с сарая. И я при этом присутствовал.

Мне в детстве казалось — видимо, по аналогии с разными детскими болезнями, которыми мы все болели по очереди, заражаясь друг от друга, — что есть какой-то фатальный набор неприятностей, избежать которых не представляется возможным.

«Вот Смирнов уже сломал ногу, — с тоскливой безысходностью размышлял я, — а я все еще нет». Или «У Мишки уже была операция по поводу аппендицита, а у меня нет».

И эти рассуждения наполняли — к счастью ненадолго — фатальной тоской и тревогой мою, в общем-то, постоянно готовую к веселью душу.

Кстати, ни перелома, ни аппендицита у меня до сих пор не было. Хорошо бы, чтобы и дальше как-нибудь обошлось без этого.

6.

Боря Никитин разбил голову камнем

Ну, та же, в общем, история.

Боря Никитин — второй мой дружок. Не такой прославленный мною на весь белый свет, как Смирнов, но тоже не из последних.

7.

Пошел дождь

Это так же, как с «Дул ветер».

8.

Брат дразнил брата

Мой брат был на девять лет старше меня. Поэтому я помню его всегда взрослым, то есть с пятнадцати примерно лет.

Он, конечно, меня любил. Но, как говорится, странную любовью, свойственной подросткам по отношению к такой мелюзге, как я.

Любил, защищал, но и ужасно издевался. И очень дразнил, доводя до слез.

Однажды, например, задумчиво осмотрев мои оттопыренные уши, он сказал: «Твои уши так торчат и повернуты под таким углом, что если ветер подует в определенном направлении, ты можешь случайно взлететь и висеть в воздухе, как воздушный змей».

Уж не знаю почему, но эта невинная, в общем, шутка меня страшно обидела, и я в слезах побежал жаловаться маме. А когда она вместо того, чтобы рассердиться, обидно рассмеялась, я уже окончательно оскорбился.



Было много и другого. Например, однажды он вместе с соседом-сверстником Юркой Винниковым попытались застегнуть на моей тонкой шее отцовские трофейные часы Longines.

У них это, слава богу, не получилось, но мне довольно ярко запомнилось, да и как было такому не запомниться.

А еще однажды они же, войдя в раж, поспорили между собой, помещусь ли я в нашей печной духовке. И начали, конечно, тут же это и проверять.

Проверить им это до какого-нибудь положительного или отрицательного результата не удалось, потому что я все же вырвался и с дикими криками забился под круглый стол, накрытый бордового цвета бархатной скатертью с бахромой. Там-то я, в отличие от них, вполне помещался.

Кстати, эта скатерть с этой бахромой мне до сих пор регулярно снится.

9.

Молоко убежало

Это было кошмаром и наваждением. «Сиди тут и следи, чтобы не убежало». Сидеть на одном месте сколько-нибудь долго я и сейчас не очень-то умею, а в детстве и подавно.

Поэтому молоко, конечно же, все равно убежало, заливая конфорку керосинки и клеенку под

ней неприятной, пахучей и трудно отмываемой субстанцией.

10.

Первым словом было слово «колено»

Да, это именно так. Посреди младенческого полуутробного существования, когда не было еще ничего — ни времени, ни пространства, ни фигур, ни предметов, ни картинок, ни слов человеческой речи, а были только мелькавшие вокруг разноцветные тени и теплые, хотя и лишённые даже намека на семантику, на морфологию и синтаксис звуки человеческих голосов, я вдруг вычленил из этого пчелиного гула отчетливо прозвучавшее слово «колено».

Кто произнес это слово? Что имелось в виду? Значило ли это слово, что кто-то ушиб колено? Может быть. А может быть, и нет. Вряд ли имелось в виду какое-нибудь из колен Израилевых в моей насквозь атеистической семье.

Так или иначе, но слово «колено» запомнилось мне как первое слово, воспринятое мною как отдельное, как слово, вырвавшееся из первозданного языкового хаоса.



Юра Степанов смастерил шалаш

Сосед-сверстник Юра Степанов был малозаметным мальчиком. Ростом он был еще меньше меня, что, конечно, слегка примирило меня с действительностью.

Его было принято всячески третировать и обижать. И, должен сознаться, я тоже принимал в этом некоторое постыдное участие.

Но одно свойство выделяло его из нас всех в лучшую сторону. Он умел что-то делать руками. Например, однажды из трех выброшенных кем-то трехколесных велосипедов он соорудил вполне дееспособный самокат, на котором со страшным грохотом носился по двору.

А еще как-то в заросшем лопухами и крапивой углу нашего общего двора он из веток, из каких-то дощечек, из посылочных фанерных ящичков и неизвестно откуда взявшихся мешков из рогожи, смастерил настоящий шалаш, в котором могли легко разместиться человек пять.

12.

Юлия Михайловна была строгая

Она была завучем в моей школе. Действительно, ужасно строгая. У меня сводило внизу живота, когда она приближалась.

Она преподавала физику. К счастью, недолго. Вскорости ее сменила другая физичка — Эльвира Васильевна. Та почему-то относилась ко мне очень хорошо, позволяя мне читать книжки на своих уроках. И я всегда имел у нее твердую тройку.

За то, что на уроке я, когда не читал, все время вертелся, называла меня «вечным двигателем». А географичка Ирина Абрамовна за то же самое называла меня «круговоротом воды в природе».

А Юлия Михайловна — да, была не просто строгая, но, в общем-то, даже свирепая. Однажды она в пылу особого раздражения дернула меня за ухо так, что пошла кровь.

Сама она ужасно испугалась, я это видел. Но я — молодец — никому об этом не сказал. Ни маме, никому. Вот только теперь...

13.

Вова Авдеев дрался

Да, был такой. В моем классе. Белобрысый и курносый. Постоянно лез в драку по любому поводу.



Очень часто получал как следует, но все равно лез. Бывают такие люди...

14.

Таня Чирикова — дура

На самом деле она не казалась мне душой, эта Таня Чирикова. Она была старше меня года на три, то есть казалась совсем взрослой. Она была длинноногая и складная. Я помню, как в школьном дворе она в спортивных трусах прыгала в длину. Очень хорошо и привлекательно это получалось у нее. Она меня, разумеется, волновала, но кто она и кто я — так, мелочь пузатая.

Про то, что она якобы «дура», я написал однажды на заборе. От бессильной досады и тоски, скорее всего. А также — из неудовлетворенного любопытства, которое, по-видимому, было ревностью, но я тогда не знал таких слов, а следовательно — и чувств.

Дело в том, что Павлик Аронов, который был старше меня на целый год, рассказывал, как эта Таня приводила его в сарай, где раздевала его и раздевалась сама, и они, весело смеясь, рассматривали друг друга и прикасались к разным местам.

Потом она уехала куда-то. А Павлик, между прочим, стал потом милиционером. Впрочем, об этом

я знаю от других, потому что в это время мы уже не общались.

15.

Жених Галя Фоминой — однорукий

Эта свадьба случилась в декабре 52-го года. Почему-то я это запомнил.

Это было время апофеоза печально известной борьбы с космополитизмом. Я об этой «борьбе» ничего, разумеется, не знал в те годы, а невнятные, полупшепотом, обрывки разговоров взрослых в спальне как-то не очень пробуждали мое любопытство, занятое тогда совсем другим — например, отцовским трофейным финским ножом и офицерским полевым биноклем, бдительно запертыми в ящике письменного стола.

А свадьбу я запомнил хорошо. Помню если не все, то почти все.

Помню, что замуж выходила соседка Галя Фомина, студентка педагогического института, та самая, что учила меня буквам посредством бублика. «Вот целый бублик, — говорила она. — Это буква „О“. А это, — и она ломала бублик пополам, — буква „С“».

Я помню все эти приготовления. Я помню, что творилось на кухне. Я помню, как наряжались Галя и ее родители. Помню, что ее отец, летчик

в отставке, Сергей Александрович надел на себя все боевые ордена и ходил по коридору, слегка ими позвякивая...

И я помню общее волнение, постепенно перешедшее в панику, потому что жених не просто опаздывал, а как-то очень прямо сильно опаздывал.

«Он передумал! Он решил меня бросить!» — плакала бедная Галя. «Да не выдумывай, пожалуйста! — успокаивали ее и родители, и все соседки. — Не такой Леня человек, чтобы...»

Я этого Леню уже видел. Я уже знал, что он был врач, причем детский, и что его фамилия была Танкилевич. Запомнил я эту фамилию потому, что она была созвучна слову «танк». А именно, как я узнал, из горящего танка сумел выбраться в 43-м году этот самый Леня, но выбрался не весь — без руки. Его пальто на вешалке в прихожей легко было распознать по рукаву, глубоко засунутому в один из карманов. Я хорошо помню это пальто — серое в елочку, такая ткань была редкостью в те годы. Трофейный, видимо, матерьяльчик.

Время между тем шло. А Лени все не было.

И наконец он пришел.

Я все видел — я, естественно, болтался в коридоре. Я все видел и слышал, мало что понимая, но заражаясь всеобщей нервозностью и тревогой.

«Что? Почему? В чем дело, Леня?» — накинулись все на него. Но он, никому ничего не объяс-



няя, подошел к Гале и сказал совсем не понятную мне вещь. Он сказал: «Галка, извини меня. Я два часа ходил вокруг дома, чтобы дать тебе возможность как следует подумать. Вдруг ты решишь отказаться».

Дальше произошло нечто уж совсем непонятное, потому что он немедленно и совершенно для меня неожиданно получил от Гали по физиономии.

Дальше произошло нечто еще более непонятное, потому что Леня этот вместо того, чтобы обидеться и дать сдачи, обнял Галю и стал просить у нее прощения.

«Ничего себе свадьба! — думал я. — Это что, и мне, что ли, когда-нибудь так же вот придется?»

А потом была свадьба. И она была, кажется, очень веселая.

Помню, как кто-то пронес мимо меня гитару с огромным алым бантом. Помню, как кого-то с шутками и прибаутками вывели на крыльцо «немножко продышаться». Помню, как кто-то пел под гитару «в огороде, бабка, в огороде, Любка, в огороде, ты моя сизая голубка».

И забудешь разве огромное блюдо с «наполеоном», которое я не выпускал из поля собственного зрения, пока не получил счастливую возможность принять и свое посильное участие в его стремительном опустошении.

Сергею Александровичу провели телефон

Сергей Александрович Фомин. Сосед, отец Гали Фоминой, военный летчик в отставке.

Хоть и в отставке, но социально активный. И однажды он взял и организовал при местном отделении милиции штаб добровольной дружины. В дружинники он привлекал местную шпану, иногда и самого отпетого свойства.

Как ни странно, у него это получилось, и бытового хулиганства на улицах и во дворах стало чуть меньше.

Под это дело он добился, чтобы в его квартире установили телефон. Не исключено, что ради этого и была затеяна вся эта «дружина».

Поскольку Фомины жили через стенку от нас, этим телефоном иногда пользовались и мои родители.

Когда кто-то из родственников звонил нам, Сергей Александрович или его жена Елена Илларионовна стучали в стенку и кричали: «К телефону!»

Стенка была очень тонкая, фанерная, все было слышно.

Инвалид сгорел в машине

Мы жили рядом с Ярославским шоссе. Между нашим двором и шоссе располагался маленький пустырь, называемый «полянкой». На этой полянке играли в волейбол, в футбол и в другие подвижные игры. Там дрались и мирились. Там находилась водяная колонка, откуда таскали воду в близлежащие дворы. Из крана колонки пили воду, подставив руку лодочкой. Вода была холодная и вкусная.

По шоссе ходили машины и автобусы. Совсем не так густо, как сейчас, но тоже с большой скоростью.

Время от времени на шоссе прямо на наших глазах происходили различные аварии. То кто-то с кем-то столкнется, то кто-то кого-то задавит, то перевернется хлебный фургон и прямо на шоссе вывалятся буханки и белые батоны.

Поскольку машин было немного, то и каждое дорожное происшествие на пару дней становилось темой разговоров. Свидетель события, даже если им был ребенок, ненадолго становился важной персоной.

Я вместе с двумя своими приятелями стал однажды свидетелем страшного происшествия. Буквально на наших глазах трехколесный инва-

лидный автомобильчик (были тогда такие) перевернулся и загорелся. Он загорелся так стремительно и горел так мощно, что надеяться на то, что водитель сумеет выбраться оттуда, не приходилось.

Чуть позже, когда огонь погас и место события окружила взволнованная взрослая толпа, мы подошли поближе.

Я никогда не забуду этот запах — тошнотворный запах жареного человеческого мяса. Да и сам труп сгоревшего инвалида, когда мужчины под руководством милиционера, замотав собственные лица вафельными полотенцами, извлекли его наружу, напоминал огромную дымящуюся подгоревшую котлету.

18.

Мы ходили в лес

За шоссе было небольшое колхозное поле с какими-то невыразительными тощими злаками, а за ним — довольно чахлая роща, которую мы с незаслуженной торжественностью называли «лесом».

Летом ходили в лес, чтобы пожарить на костре подобранные там же сыроежки или дождевых червяков, нанизанных на веточку или проволочку.

Осенью — чтобы покурить самокрутки, набитые мелко раскрошенными сухими дубовыми листьями.

Зимой — просто на лыжах.

19.

У бабушки был рак

Когда мне было десять лет, у бабушки был обнаружен рак, и она слегла.

Она болела все лето и начало осени.

Что я запомнил из тех дней? В общем-то, ничего, кроме огромной резиновой кислородной подушки темно-зеленого цвета, которую мама притащила из аптеки. Это было уже за несколько дней до бабушкиной смерти.

Подушка показалась мне красивой и торжественной.

20.

Бабушка умерла во сне

И я оказался свидетелем этого.

Мы с бабушкой спали в одной комнате. Среди ночи я проснулся, чтобы сходить в уборную, и обратил внимание на то, что я не услышал ставшего уже привычным бабушкиного громкого хриплого дыхания.

Я как-то сразу все понял и стал будить родителей.

Я часто видел бабушку во сне

Да, довольно часто. Я и сейчас иногда ее вижу. Но уже довольно редко.

Редко, но снится. А еще чаще, чем снится, постоянно вспоминается. И, удивительное дело, в последнее время все чаще и чаще.

Бабушка, мамина мама, жила вместе с нами. Я ее любил, хотя и постоянно грубил ей и над ней посмеивался. И она, и моя мать были родом из Украины, и, видимо, поэтому я называл бабушку на вы, так уж сложилось.

Она была единственным религиозным человеком в семье. Живя с нами в одной квартире, она имела отдельную посуду, и я знал, с самых ранних своих лет, что в маленькую кастрюльку, в которой бабушка кипятила молоко, ни в коем случае нельзя было ничего ни лить, ни класть. Она за общим столом всегда ела свою отдельную еду, и мне казалось это естественным, поскольку о бытовых привычках чужих бабушек я до поры до времени ничего не знал.

Так же естественным мне казалось, что бабушка перед сном читала вслух растрепанную книгу без начала и без конца. Это был молитвенник. Мне казалось вполне естественным, что все слова в этой книге были набраны совсем не знакомы-

ми мне буквами и что бабушка листала ее не так, как полагалось, а наоборот. И отдельную посуду, и чтение книги справа налево я считал неизменным признаком вообще бабушек.

Когда я заболел очередной ангиной, бабушка отправлялась на Перловский рынок, который она на украинский манер называла «базаром», где, как она говорила, была «одна женщина, у которой можно купить правильную курицу». Она была свято уверена в том, что помочь больному ребенку может только бульон из исключительно «правильной», то есть кошерной, курочки.

Она приносила домой эту птицу с мертвыми глазами и с торчавшими во все стороны конечностями, в перьях, клювах и когтях. Она сначала ощипывала ее, потом опаливала над керосинкой. Я помню этот запах горелой шерсти, обещавший в скором времени вкусный и жизнеутверждающий бабушкин бульон. Бульон и на самом деле мне мгновенно помогал. По крайней мере, в этом была уверена бабушка, а ее несокрушимая уверенность не могла не заражать окружающих.

Да, она часто снилась мне. Может быть, потому что я стал свидетелем ее кончины. А может быть, по каким-нибудь иным причинам.

Но снилась и снится мне не только она, мне снятся время от времени туманные, смазанные, полустертые картинки из детства.

В последнее время некоторые из них внезапно становятся стихами. Стихи эти не сочиняются, а как бы возникают в сознании сразу же, в готовом практически виде.

Я их не сочиняю, а всего лишь записываю для памяти.

Вот, например, одно из них, и там тоже присутствует бабушка:

Пришел, ушел, и будто бы не он
Пускал по ветру легкие колечки.
Кто он? Шпион? Трехкратный чемпион?
Или седой из детства почтальон?
Не Печкин, нет, какой там еще Печкин!

А ты гори, заветная звезда.
Лишь ты одна не сука, не училка,
Не белка на заборе, не бутылка,
Не в поросячьем облике копилка.
Ты лишь одна как будто б навсегда.

Я это так, не принимай всерьез.
Сердечные забудутся уколы,
А воз все там же. Помнишь этот воз?
Он все скрипел, но никуда не вез.
Не помнишь, нет? Ну как же, возле школы!

Там еще были липы, был там снег,
Еще чего-то было там такое.
Вот, вспомнил! Шел навстречу человек,
Мне не знакомый. Он достал «Казбек»
И прикурил единственной рукою.

А ты гори, заветная звезда.
Тебя я вижу, а меня ты видишь?
Ты слышишь, как разнылись поезда,
Как на клеенку пролилась вода,
Как переходит бабушка на идиш?

Идиш был бабушкиным родным языком. Она всегда переходила на этот язык, когда волновалась или сердилась. Меня она ругала исключительно на идиш.

По-русски она разговаривала с акцентом. Но вот что интересно. В ее письмах, которые она писала своим многочисленным родственникам, никогда не было ни единой грамматической ошибки.

У нее был приятель (мои родители шутливо называли его «женихом»), старик из соседнего дома. Бабушка, собираясь его навестить, иногда брала и меня с собой.

У него была длинная седая борода, которой он иногда давал мне поиграть. Игра была такая. Я запускал руку в недра его бороды, и рука, мелко перебирая пальцами, медленно двигалась в сто-

рону его рта. В какой-то момент, из его рта раздавалось свирепое «ам!», и я с хохотом отдергивал руку. Мне очень нравилась эта игра.

Они разговаривали между собой на идиш. Мне было скучно, но я ловил в этом невнятном речевом потоке знакомые слова, по ним с легкостью реконструируя все остальное.

Этот «жених» вообще вызывал мое любопытство.

И не только тем, что никогда не снимал шляпы — ни на улице, ни дома. «Что он там прячет?» — гадал я, но спросить не решался.

Но и тем он интриговал меня, что при помощи двух палочек с привинченными к ним металлическими крючками он довольно ловко, не прерывая беседы, плел из веревочек сетки-авоськи. Позже я узнал, что таков был его небольшой заработок. «Клейнер гешефт», — говорил он, комически разводя руками. И я все понимал, хотя не понимал отдельных слов.

«Жених» был вдовец, поэтому сам себе готовил еду. Бабушка консультировала его по некоторым кулинарным вопросам.

«Немен клейне штыкеле цыбульке...» — говорила она, и я почему-то навсегда запомнил эту не слишком необходимую мне речевую конструкцию.

У бабушки была тяжелая судьба. Как, впрочем, и почти у всех людей ее поколения.



Сначала — бесконечная череда погромов. Потом ранняя смерть мужа, маминого отца.

Про него я знаю только, что он был мельник и что он владел небольшой мельницей. Когда случилась революция, моего деда не подвела интуиция, и он официально отказался от собственности, став на собственной мельнице всего лишь служащим, хотя и главным. Это спасло его и, соответственно, пятерых его детей от статуса и участи «лишенцев». Лишь благодаря этому четверо детей из пяти получили потом высшее образование. Он был, рассказывала мама, очень физически сильным и здоровым человеком, и умер он в пятьдесят с чем-то лет от, как тогда говорили, удара. «Пришел домой с работы, — рассказывала мама, — и, не дойдя до стола, где уже стоял готовый обед, упал и сразу умер».

В начале 30-х годов бабушка с детьми, включая мою мать, в те годы школьницу, жила в Харькове. Их там настиг тот самый знаменитый украинский голодомор. В городе было чуть легче, чем в селе, но тоже — вполне ничего себе.

Как-то все же все они выжили.

Потом — война. Сыновья ушли на фронт, а она успела уехать из города и попала в эвакуацию вместе со старшей дочерью, маминой сестрой Фирой. Фира погибла под трамваем через несколько дней после того, как получила «похоронку» на своего

мужа. У Фиры оставался маленький сын, которого, конечно же, взяла к себе бабушка.

В Киеве, когда началась война, остались две бабушкины двоюродные сестры, которых она очень любила. Они не захотели уезжать. Они сказали: «Кому мы нужны такие старые? А тут все же добро. Посуда, одеяла, пианино, настенные часы...» Они, разумеется, погибли в Бабьем яру.

А уже после войны в Ашхабаде во время страшного землетрясения 1948 года погибли еще две бабушкины двоюродные сестры вместе со своими семьями.

Мы спали с бабушкой в одной комнате. Когда она внезапно среди ночи резко и громко вскрикивала во сне, я не пугался, я привык.

22.

Я очень боялся умереть во сне

Был такой период. Довольно долгий.

Я даже помню, с чего это началось.

Сидела у мамы соседка Раиса Савельевна и говорила: «Представляете себе — Матвей Маркович, муж Ольги Львовны, лег спать, заснул и уже не проснулся. Ужас какой!»

С этого момента страх заснуть и не проснуться на долгое время стал самым главным страхом, заслонившим все прочие, включая дикий страх за-

быть текст торжественной клятвы, которую надо было произнести наизусть при церемонии приема в юные пионеры.

23.

Игорь Дудкин был похож на грузина

Дудкиных была целая семья. Дядя Женья, тетя Зоя, ее мать Марья Корниловна.

Иногда тетя Зоя дралась со своей матерью, и это было хорошо слышно в нашей комнате. Из-за стены раздавался какой-то грохот, напоминавший падение картофельных мешков из кузова грузовика.

«Зоя с Марьей Корниловной дерутся», — говорили взрослые. Но говорили не как о чем-то чрезвычайном, а как о досадной рутине.

Был также и их сын Игорь, ровесник и приятель моего старшего брата.

Игорь был высокий, слегка полноватый брюнет с довольно холеным лицом и, главное, с тонкими усиками, благодаря которым многие принимали его за кавказца. Тогда всех кавказцев без разбора называли почему-то «грузинами».

Однажды Игорь крепко навалял хулиганистому Борьке Тоболкину из соседнего дома.

Тоболкин потом ходил и грозился: «Я этому грузинчику еще покажу. Он у меня...»

Потом куда-то уехали Дудкины. Потом Тоболкин попал в колонию. Потом он оттуда вернулся. Но это уже совсем не интересно.

24.

Сергей Александрович шутил с папой

Сергей Александрович Фомин, военный летчик в отставке, вообще любил пошутить. Но особенно он любил разыгрывать и подначивать моего доверчивого отца.

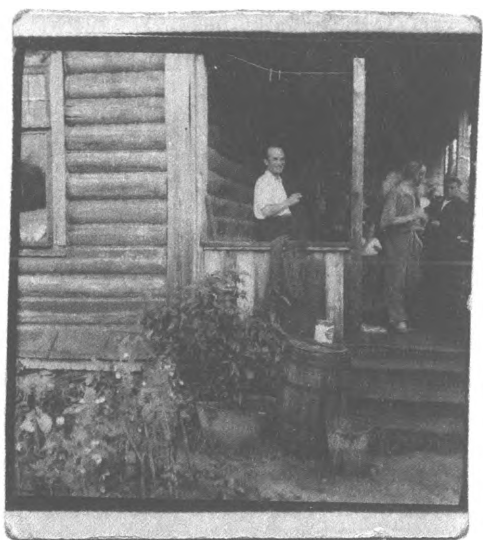
25.

У Сорокиных были сливы,
но был и Джек

Сорокины жили через забор от нас.

Взрослые говорили: «У Сорокиных сливы». Это значило, что у них в саду росли три или четыре сливовых дерева и что у них можно было купить сливы на варенье и компот.

Именно купить и ничего больше. Потому что о попытках занять эти сливы каким-либо иным способом, особенно тем, каким мы злоупотребляли в подростковом возрасте, не могло быть и речи: по сорокинскому двору расхаживало масштабное и довольно свирепое собачье существо по имени



Джек. Джек был черный, без единого светлого пятнышка.

26.

Ребята играли в волейбол на полянке

Про «полянку» я уже упоминал. Играли, да. И в волейбол, и в футбол, и в круговую лапту, и в салочки, и в «колдунчики», и в штандар, и в «жопки».

Но сама эта фраза необъяснимым образом наполняет меня наивным, простодушным школярским теплом, как будто в какой-нибудь апрельский день я без пальто и без галош выскочил во время перемены из школы. Буквально на минутку! А ведь сколько радости и даже, в общем-то, счастья.

27.

Глеб Вышинский приносил мышь

Был такой. Глеб. Крупный, толстый, добродушный. Обладал мягким южным говором, потому что его отец-полковник был родом из Одессы.

Глеб этот страшно любил всякую живность. Дома у него вечно болтались всякие странные существа вроде каких-то особенных пауков.

Однажды он притащил в школу белую мышку. Девочки визжали. Мальчики выстроились в очередь, чтобы ее немножко подержать в руках.

Потом этот Вышинский поступил в ветеринарную академию, и я его с тех пор никогда больше не видел.

28.

Володя Волошенко врал

Одноклассник Володя Волошенко врал беспрерывно и по любому поводу. Чаще всего — абсолютно бескорыстно. А иногда — и во вред себе.

Например, он сообщил однажды на перемене, что его отец — тщательно засекреченный крупный авиаконструктор, который запросто ходит в Кремль, прямо к Хрущеву.

При этом все знали, что его отец точил ножи на Перловском рынке. А иногда ходил по дворам со своим точильным станком.

Думаю, что это было чем-то вроде болезни.

29.

Елена Илларионовна знала Сашу Черного

Елена Илларионовна, соседка, жена Сергея Александровича Фомина, военного летчика в отставке. Довольно яркая, крупная, громогласная женщина. Позже, уже ближе к 60-м годам, вдруг выяснилось, что она была «из бывших», то есть из дворянок.



А до этого она тщательно прикидывалась простолюдинкой, говорила «простина» и «тубаретка».

У нее была мать Ольга Андреевна. Ее я помню плохо. Но помню почему-то, как она соорудила для меня из газет генеральский мундир. В нем я щеголял по квартире примерно час, пока он не порвался.

А еще у Елены Илларионовны была сестра Татьяна, они жили вместе. Отчества у нее почему-то не было. Татьяна и Татьяна. Татьяна была портнихой, обшивала весь двор.

Она была глухая. Не глухонемая, а именно глухая. Она разговаривала. Но поскольку она ничего не слышала, она разговаривала страшно громко. И при этом почему-то басом.

Я помню день своего четырехлетия и помню, кто что мне подарил.

Вкакой-то момент пришла Татьяна. Она пришла не совсем одна. Вместо ее правой руки я увидел и даже услышал нечто абсолютно inferнальное. Это была сшитая из отходов ее профессиональной деятельности, из разных лоскутков и тряпочек кукла, надеваемая на руку. Вместе с ней она и вошла. И кукла эта судорожно зашевелилась. И некоординированно задвигала своими тряпочными руками. И эпилептически задержала своей ватной башкой. И залопотала что-то невнятно-поздравительное оглушительным и неуправляемым

полубасом-полуфальцетом, какой умеют издавать только глухие люди, не слышащие самих себя.

В моих ушах, кажется, до сих пор звучит тревожным фоном всей моей последующей и уже, можно сказать, почти прошедшей жизни мой собственный гомерический рев. До сих пор, когда я вспоминаю об этом сверхчеловеческом вопле вселенского ужаса перед Непостижимым, мне хочется зажать уши.

Эту куклу торопливо унесли туда, откуда ее принесли, и я ее никогда больше не видел.

К своей «куклофобии» я еще вернусь, чуть позже.

Несмотря на «тубаретку», Елена Илларионовна время от времени цитировала какие-то стихи, запомнившиеся ей, видимо, с ее гимназического отрочества. Так я однажды услышал от нее неведомое прежде имя «Саха Черный». Про такого поэта, вообще, не очень-то знали тогда.

Она цитировала на кухне смешные стихи поэта со смешным мальчишеским именем. Мне это нравилось, я смеялся и тоже запоминал наизусть: «Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом».

Очень как-то была насущна и злободневна для меня тогда эта «двойка с плюсом».

То и дело падало напряжение

Да, все время падало напряжение. Это отражалось на работе телевизора. Рядом с телевизором стоял трансформатор, который надо было постоянно переключать туда-сюда, в зависимости от напряжения, которое неуправляемо скакало то вверх, то вниз.

От этого телевизор все время портился, в нем перегорали какие-то лампы, и приходилось звать Женю из соседнего дома. Женя был, что называется, «золотые руки» и к тому же добрый и отзывчивый дядька. Он приходил с потрепанным чемоданчиком, похожим на тот, с которым я ходил в баню. В чемоданчике были какие-то инструменты, паяльная лампа и еще чего-то.

Женя был, в общем-то, безотказный, к тому же и брал за работу совсем немного.

Проблема состояла лишь в том, что его довольно редко удавалось застать трезвым.

В кино шел интересный кинофильм

Мне пять лет. Моему четырнадцатилетнему старшему брату, на чье попечительство родители оставили меня в тот летний день, и его прия-

телю-соседу Юрке Винникову остро приспичило в четвертый раз увидеть это чудо из чудес, это сладкое наваждение, свалившееся на их счастливые головы, головы послевоенных подростков, такого невероятного, такого ослепительного, такого трофейного «Тарзана».

Ну и потащили меня с собой — куда ж девать-то.

Их предпраздничное возбуждение передалось и мне, и я некоторое время с открытым от любопытства ртом пялился на экран, где шевелилось и звучало что-то малопонятное, но, безусловно, значительное, что-то такое, от чего зависела вся последующая жизнь.

Вообще-то, к этому «Тарзану» я был к тому времени более или менее подготовлен. В то лето редкий мальчишка из нашего и из всех окрестных дворов не издавал время от времени душераздирающих воплей, страшно пугавших кошек и нервных обитателей и обитательниц первых этажей. В то лето все играли в этого вопящего Тарзана, в резво качающуюся на ветвях нашей несчастной дворовой липы обезьяну Читу, в еще кого-то там — не помню уже.

Первые несколько минут я изо всех сил пытался разделять лихорадочный зрительский азарт брата, его друга и всего зрительного зала. Потом стал ерзать и позевывать, нетерпеливо ожидая того момента, когда же уже наконец зажжется свет и мож-

но будет выйти наружу. Потом я захотел по-маленькому, о чем немедленно и не так тихо, как это предписано этикетом, сообщил брату.

«Потерпи, уже скоро», — шепотом соврал он, не отрываясь от экрана. Я немножко потерпел. Потом еще немножко. Потом еще. Ну а потом...

Некоторое время после этого я избегал походов в кино. Но не долго, нет. Кино, разумеется, победило. Да и как могло быть иначе.

Я не помню, как официально назывался тот самый кинотеатр в подмосковных Мытицах, недалеко от станции. Да и не припомню я, чтобы хоть кто-нибудь называл его по имени. Все называли его только по прозвищу. Многие поколения кинозрителей обозначали это учреждение культуры мрачноватым словом «Гроб», видимо, по причине напоминавшей крышку гроба конфигурации его потолка, характерно скошенного по краям. Гроб и гроб.

В этот гроб я таскался все детские и подростковые годы.

Разве ж забудешь золотистый, в нарядную оборочку, плюшевый занавес, откидные вытертые стулья, пожилой морщинистый экран.

Входили, садились. Медленно гас свет. Сначала — киножурнал «Новости дня». Или «Иностранная кинохроника» (очередной съезд Польской объединенной рабочей партии, новый металлурги-



ческий завод в Индии, землетрясение в Иране, разгон мирной демонстрации в Южной Корее, реваншизм поднимает голову в Бонне). Иногда — «Фитиль». После киножурнала свет вновь зажегся, и в зал входили опоздавшие. Свет опять гас, начиналось кино. Не всегда, правда, с первого раза. То пропадал куда-то звук, и тогда из зала кричали: «Эй! Звук!» Или вдруг изображение становилось таким, как будто я забыл надеть очки минус четыре с половиной. И тогда дружный хор кричал: «Резкость!» Резкость худо-бедно восстанавливалась, и мы смотрели кино.

Какие фильмы мы смотрели? Да все подряд — выбор был невелик. Историко-революционные, военно-патриотические, аграрно-промышленные, любовно-производственные, искрометные комедии, зубастую сатиру. Отдельной привлекательностью выделялись из всех прочих кинофильмы, совокупно называемые «Детям до шестнадцати».

Время от времени судьба преподносила подарки. Я до сих пор считаю себя навсегда осчастливленным тем, что нам, тринадцатилетним, показали «Великолепную семерку». О, это был праздник, длившийся чуть не полгода.

Тогда вообще все жили каким-нибудь очередным фильмом. Все пели песенки из индийского «Бродяги» или аргентинского «Возраста любви» с красоткой Лолитой Торрес, все перебрасывались

шуточками из «Верных друзей» и «Карнавальной ночи». Все обнаруживали друг в друге сходство то с Раджем Капуром, то с Олегом Стриженовым, то с Любовью Орловой, то с Диной Дурбин, то с Юлом Бриннером.

Киноартисты были существами практически инопланетными. Случайная встреча артиста на улице воспринималась как событие не вполне реальное, потому что им, артистам, полагалось существовать только на киноэкране или на фотооткрытках, продаваемых в киосках «Союзпечати».

Мой старший товарищ, выросший в Ленинграде, рассказывал, что в той коммуналке, где он жил в детстве до войны, жил также и артист Бабочкин. Все его сверстники, да и он сам, по сто пятнадцать раз бегали на «Чапаева» в тайной надежде на то, что Чапаев в этот раз все же выплывет и спасется, а он ежедневно видел «Василь Иваныча» в полосатой пижаме и с чайником руке. Он даже не рассказывал об этом в своем классе, уверенный в том, что ему все равно никто не поверит.

Кино было демократической альтернативой театру. В театр надо было доставать билеты. Билеты стоили недешево, не то что в кино. В театр наряжались, театр начинался с вешалки, там надо было раздеваться и оставлять в гардеробе галоши. Кино не обязывало ни к чему. Туда приходи-

ли кто в чем. Там не снимали пальто. А вот если кто не снимал шапку, то тот уже был невежа.

Кинотеатры были похуже и получше. Те, что похуже, жались к окраинам и назывались «Спутниками», «Орбитами», «Планетами» и «Орленками». Это в романтические 60-е. В 70-е стали возникать «Ташкенты», «Уралы» и прочие «Улан-Баторы». Которые получше находились в центре города и назывались респектабельно и аполитично — «Форум», «Колизей», «Художественный», «Уран». В тех, что получше, был буфет с пивом и бутербродами.

И там перед сеансом выступали музыканты. Меня до сих пор охватывает спазм острой жалости к этим людям в заштопанных фраках и облысевших бархатных платьях, поющих и играющих непонятно для кого. Не для тех же, которые, игнорируя порывы чужого вдохновения, громко смеялись и громко разговаривали, торопливо жуя бутерброды с сырокопченой колбасой. Кто эти артисты погорелого театра? Почему они здесь? Откуда и за что их выгнали? Что так жалобно поют? Какие чувства испытывает эта не чересчур юная певица, выдавшим виды сопрано выводящая алябьевские трели? Ужас. Ужас и стыд.

Брат заводил проигрыватель

Сначала был, конечно, патефон. И пластинки на 78 оборотов.

А потом случилась тихая революция. Появились проигрыватели и долгоиграющие пластинки.

Очень хорошо помню, как в один прекрасный день мой старший брат, получив очередную стипендию, взял меня с собой, и мы пошли в двухэтажный универмаг, примыкавший к Перловскому рынку.

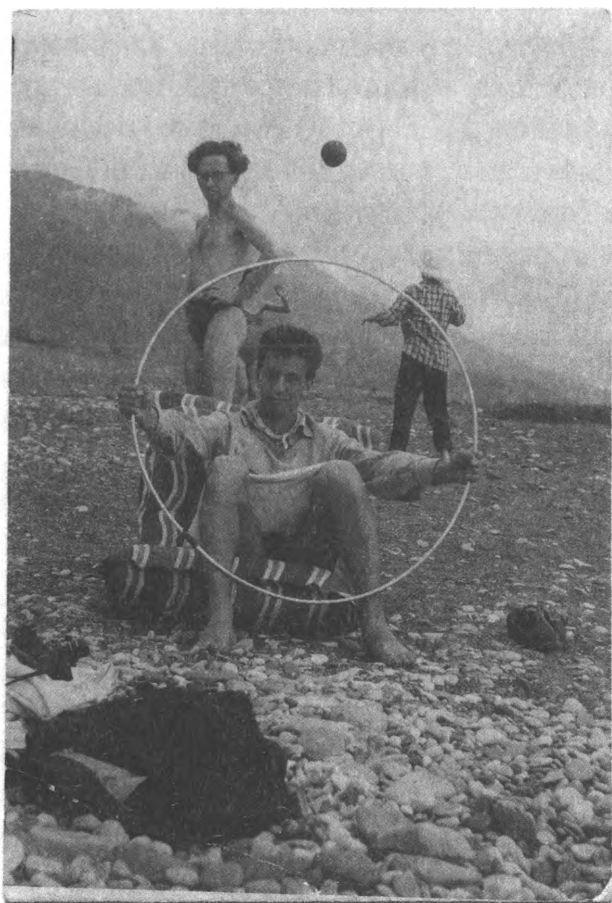
На втором этаже мы купили шикарную вещь — темно-коричневый чемоданчик с золоченой надписью «Юбилейный» на крышке.

Это был проигрыватель — чудо технического прогресса.

На него можно было ставить как архаические тяжелые и ломкие пластинки из уходящей эпохи патефонов, так и новомодные, тонкие и элегантные с виду пластинки на 33 оборота, на каждой из которых помещалось штук по десять песен на одной лишь стороне.

Брат так гордился этим приобретением и, главное, тем, что смог сам на свои деньги его купить, что первое время никого не подпускал к нему.

Он сам заводил этот проигрыватель, иногда милостиво позволяя мне выбрать пластинку.



Вскорости его неофитский пыл поутих, и я смог заводить его собственноручно, слушая по сто раз какую-нибудь полюбившуюся песенку из долгоиграющей пластинки «Вокруг света».

Что касается репертуара, то в семье имел место так называемый конфликт интересов. Не то чтобы особенно острый, но все же.

Нам с братом хотелось слушать что-нибудь быстрое, ритмичное и иностранное. Отец все время норовил поставить пластинку с песней «Цып-цып-цып, мои цыплята» на азербайджанском языке в исполнении детского хора. Мама просила поставить Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром в исполнении Вана Клиберна, в те годы одного из главных любимцев советских женщин с культурными запросами.

33.

Папа громко кричал

Отец был человеком импульсивным и вспыльчивым. Чуть что — начинал кричать. Но очень быстро остывал.

В раннем моем детстве у каждого члена нашей семьи было прозвище, придуманное мамой.

Я, понятное дело, назывался «Пищалкой», потому что постоянно ныл и капризничал тоненьким голосом.

Брат был «Доедалкой». И вот почему.

Когда началась война, ему было три с половиной года. Они с мамой, чудом успевшие уехать из приграничной полосы, из маленького литовского города, попали в эвакуацию в Уфу, где пробыли до 44-го года. Брат, как и многие мальчики и девочки его поколения, сильно недоедал в те годы. С тех пор и на всю оставшуюся жизнь он сохранил привычку собирать со скатерти хлебные крошки и отправлять их в рот.

Пищалка, то есть я, родившийся и росший уже после войны в относительной сытости, все время капризничал и что-то ел, а от чего-то шумно и темпераментно отказывался. Когда я оставлял что-нибудь в тарелке, брат с готовностью все доедал.

Я поначалу думал, что он делает это из любви ко мне, то есть для того чтобы мама меня не ругала за то, что я не доедаю суп или кашу. И очень я был раздосадован, узнав, что он делает это по совсем другой причине.

Мама прозвища не имела. Что и понятно — она же сама придумывала всем прозвища. Бабушка тоже не имела. Или имела, но я не помню какое.

А папа назывался «Кричалка».



Буян гремел цепью

Буяном звали рыжеватую бестолковую дворнягу, жившую в нашем дворе в деревянной будке. Я даже не помню, кому он конкретно принадлежал, этот Буян. Какой-то он был общий.

С ним были связаны и некоторые неприятности. Так он однажды ни с того ни с сего тяпнул за ногу почтальоншу тетю Катю, и та некоторое время грозилась заявить в милицию, пока не получила от мамы пять дореформенных рублей.

А в другой раз он схватил меня за сатиновые шаровары и, несмотря на мои истошные крики «Буян! Нельзя! Буян! Фу!», стянул их вниз, причем вместе с трусами.

И все бы ничего, но это видела Таня Синотова, самая первая моя любовь, с которой мы, когда нам было по четыре года, ходили по двору, взявшись за руки.

Кто-то из немецких переводчиков, переводя этот мой текст, перевел «Буяна» как «хулигана».

«Хулиган гремел цепью». Что это значит? Ничего, разумеется. Чушь какая-то! Просто в русско-немецком словаре слово «буян» переводилось как «хулиган», «смутьян», «нарушитель порядка».

В следующих изданиях по моей настоятельной просьбе «хулиган» был исправлен на «Вујан».

Саша Смирнов завидовал,
какие у меня марки

И я, и Смирнов увлеченно и азартно собирали почтовые марки. И начали мы этим заниматься почти одновременно.

Но у меня марок было почти вдвое больше. Все просто: у меня был старший брат, от которого ко мне перешли какие-то старые марки. Были среди них даже неизвестно откуда взявшиеся марки Третьего рейха, в том числе и с профилем Гитлера.

А у Смирнова была только сестра, к тому же младшая.

И он мне немножко завидовал, хотя виду не подавал.

Когда у нас появлялось хоть сколько-нибудь денег, мы ехали в «Детский мир», где на втором этаже расхаживали какие-то хмыри с кляссерами в карманах и шепотом предлагали «колонии» или марки только что освободившихся от тяжелого колониального гнета новообразованных государств Африки и Азии. Эти марки были не такими ценными, как «колонии», которые исчезали с карты мира одна за другой, но, в общем-то, тоже довольно ценными.

Однажды мы со Смирновым затеяли поход в планетарий. Всяческим космосом и научно-фанта-



стическими межгалактическими путешествиями мы тоже интересовались, и даже очень.

И его, и моим родителям эта идея показалась вполне похвальной, и они выдали каждому из нас по рублю «новыми» на текущие расходы.

И мы поехали.

По дороге Смирнов сказал: «А давай просто так заедем в „Детский мир“. На пять минут. Посмотрим, что там. А потом сразу же в планетарий».

Ну, меня долго уговаривать не пришлось. И мы заехали в «Детский мир». На второй этаж.

Дальше понятно? Ну правильно, мы тут же купили серию из четырех лаосских марок со слонами (это я) и серию из трех цейлонских (это он) с яркими экзотическими цветами.

Какой уж там планетарий! Нам едва хватило на два мороженных по 15 копеек.

Вернувшись домой, мы, как нам показалось, довольно артистично и, судя по всему, правдоподобно делились каждый со своими родителями восторженными впечатлениями от посещения планетария. Родители ничего такого не заподозрили.

Нам было чуть-чуть стыдно, но лишь чуть-чуть.

36.

Он умел шевелить ушами

Если Смирнов завидовал моей коллекции, то я завидовал его умению шевелить ушами. Посредством этого своего дара он умел привлекать внимание девочек.

37.

Потом и я научился

Потом и я научился. И я, надо сказать, превзошел в этом искусстве своего учителя. Потому что он умел шевелить только обоими ушами вместе, а я умел (умею, кстати, и теперь) шевелить ими как вместе, так и каждым по отдельности.

При случае могу показать.

38.

Полина Мироновна сказала,
что ее Борька — тупица

Полина Мироновна — мать Бори Никитина. Это который «разбил голову камнем».

Она часто приходила к моей маме, и они подолгу разговаривали обо всем на свете.

Он была откуда-то, кажется, из Белоруссии и говорила примерно так: «Ваш-то Левка моло-



дец, способный к учебе (мама не вполне разделяла эту точку зрения). А мой-то Борыс (она говорила «Борыс») — тупой совсем. Совсем тупица. Не может он нормально учиться».

Мне и тогда, и сейчас кажется, что она сильно преувеличивала. Борька не был тупицей. Он просто почти совсем ничего не читал, и поэтому с ним было не очень интересно.

39.

Мужа Клавдии Ефимовны звали Михаил Борисович

Ну да, именно так и было. С этой семейной парой — их фамилия была Ароновы — дружили мои родители. Они жили в соседнем доме. У них была дочь Рита, моя сверстница, и сын Боря, ровесник моего старшего брата.

Потом Боря ушел служить во флот, откуда вернулся грубоватым прямолинейным парнем с довольно плоским взглядом на окружающий мир. Так, например, он слегка презирал моего брата за его узкие, «стиляжечьи» брюки. Сам он щеголял в широченных матросских клешах, демонстративно пренебрегая их заведомой старомодностью. Клеша снова вошли в моду существенно позже.

Кстати, об именах окружавших меня людей. Иногда среди имен встречались необычайно причудливые.

Я вполне мог бы здесь вместо «Клавдии Ефимовны и Михаила Борисовича» написать «Дочь малярши Домны Павловны звали Олимпиада». И это тоже была бы чистая правда. Но я не стал этого делать, потому что, скорее всего, никто бы этому не поверил, а для меня, как я уже говорил, в данном конкретном случае очень важно сохранить читательскую, а заодно и собственную веру в подлинность каждой детали.

40.

Раиса Савельевна работала в сороковом
гастрономе экономистом

Да, да, именно «экономистом». Она неумоимо и терпеливо поправляла каждого, кто легкомысленно называл ее «бухгалтером».

Именно в знаменитом сороковом, который рядом с КГБ, она и работала.

Родители с ней, в общем-то, дружили, но лишний раз этим «блатом» старались не пользоваться. На моей памяти лишь однажды, готовясь к пятидесятилетнему юбилею моего отца, мама попросила ее достать индейку.

За индейкой послали меня. Я хорошо запомнил все подробности своей продовольственной экспедиции. Помню, что перед тем, как зайти в плановый отдел, где трудилась наша «экономист», я съел в кафетерии пару бутербродов с докторской колбасой и выпил стакан кофе с молоком.

Бутерброды продавались в интересном автомате, похожем на этажерку. Надо было засунуть гривенник в специальную щелочку и нажать на специальную кнопку, после чего полочка с вожделенным бутербродом на бумажной тарелочке спускалась вниз, и бутерброд оказывался в открытом доступе.

В плановом отделе сидело множество разных теток и даже дядек, и я не сразу нашел там Раису Савельевну.

Она довольно сухо и деловито со мной поздоровалась, затем залезла под стол, вынула оттуда здоровенный сверток, торопливо сунула его мне в руки и каким-то скупым, но понятным жестом показала, что она меня больше не задерживает.

Ну и мне не было никакого резону болтаться без дела в этом не слишком-то увлекательном плановом отделе.

41.

Юрка Винников был ее сыном

Ну да, был ее сыном. В детстве он считался шпанистым парнем, потому что рос без отца, погибшего на фронте.

Потом он вроде остепенился, что-то закончил и стал каким-то инженером, что ли.

42.

Ксения Алексеевна была совсем простая,
но очень хорошая женщина

Была такая Ксения Алексеевна. В соседнем дворе. Эта фраза — дословная цитата из разговоров взрослых. Мама кому-то говорила: «Вот Ксения Алексеевна, например! Совсем ведь простая, почти даже малограмотная, но очень хорошая, очень порядочная, очень интеллигентная женщина».

43.

Дом, где жили Павлик и Рита Ароновы,
был соседним

Да он и был соседним. И если в этой фразе и есть что-то интересное, так это такой вот синтаксис.

44.

Таня Чирикова, кстати говоря,
тоже жила в этом доме

Все дело здесь, конечно же, исключительно в «кстати говоря». Но это ведь понятно и без комментариев, не правда ли?

45.

Имени мужа Райки Гусевой
я, к сожалению, не запомнил

Ну а здесь, разумеется, главное — это «к сожалению».

46.

Дул ветер

Снова «Дул ветер».

47.

Брат рассказывал, что делают мама
и папа в соседней комнате

Он вообще всячески меня просвещал. Особенно я благодарен ему за существенное расширение и обогащение моего обценного словаря. Я все это знал с очень ранних лет — кажется, раньше



всех окружавших меня сверстников, чем, конечно, завоевывал среди них некоторый авторитет.

Да и как не появиться авторитету, если я знал, например, частушку:

Подружка моя,
Я тебя уважу —
На головку насеру,
Палочкой размажу.

Или, например, обращаясь к тому или иному товарищу по играм, можно было под восхищенные взгляды собравшихся сказать: «Будь другом — насри кругом».

Или ни с того ни с сего небрежно так пропеть, слегка парадировав романсовую манеру какой-нибудь певицы из ежедневного концерта по заявкам радиослушателей:

Я вас люблю, вы мне поверьте.
Я вам послал говно в конверте.

Ну а еще братец мой и соседский Юрка Винников развлекались так, например.

«Вон, видишь, тетя идет с авоськой? — говорили они мне. — Подойди к ней и скажи, только громко: „Хуй и пизда из одного гнезда“. И беги назад».

Так я и делал. Тетка едва не роняла на землю авоську с картошкой и макаронами, а эти двое здоровых дураков, укрывшись за забором, буквально умирали со смеху.

Постиг я тогда и еще массу полезнейших слов, фраз и сведений, безусловно сыгравших не слишком со стороны заметную, но несомненно важную роль в моем последующем духовно-нравственном и интеллектуальном становлении.

48.

Также росли щавель, редиска
и лук-порей

В тексте и без того каждый фрагмент как будто бы насильственно выдран из какого-то повествовательного контекста и перенесен в новый. А этот отправлен автором и вовсе бог знает куда, по принципу «на кого бог пошлет».

Особенно должно — по авторскому замыслу — произвести впечатление это «также». Да и «лук-порей», прямо скажем, никогда не водился тогда в нашем садово-огородном тезаурусе.

49.

У Славы Новожилова был шрам
от проволочной клюшки

По улицам со страшным грохотом гоняли ржавый обруч от старой бочки при помощи специально изогнутой толстой проволоки. Она называлась «клюшка».

Этими клюшками иногда дрались.

А Слава Новожилов? Ну, был такой одноклассник. И шрам на лбу у него тоже был. Именно от этой самой клюшки, да.

50.

Пошел дождь

И снова «Пошел дождь».

51.

Я боялся куклы Тани Белецкой

Сколько бы ни осталось мне лет жизни, столько же — а может быть, и еще дольше — я буду помнить соседскую девочку Таню Белецкую со своей, будь она неладна, куклой Катей.

Никогда мне не забыть, как эта Таня доводила меня до рыданий с икотой, до полусмерти пугая меня своей говорящей Катей. Почему я так боял-



ся этой хрипловато-писклявой куклы, я, разумеется, объяснить не смогу. Но боялся я ее ужасно, это точно.

Эта Катя была моим повседневным кошмаром. Выходя из нашей комнаты в общий коммунальный коридор, я опасливо озирался — не маячат ли где-нибудь поблизости эти Таня с Катей. Если я видел хотя бы вдалеке эту зловещую парочку, я скрывался в комнате, шумно захлопывая за собой дверь.

Иногда моя бдительность давала сбой, и тогда зловредная Таня, которая была на год старше и потому значительно сильнее, прижимала меня к стене и прямо перед моим носом дергала за пуговичку на спине своей сообщницы. Катя в ответ мерзким вороньим голосом выкрикивала что-то, отдаленно напоминавшее «маму», а я немедленно отзывался могучим ревом.

Пусть только не обижаются на меня многочисленные знакомые и незнакомые тезки злополучной Таниной куклы, но визуальным образом самого имени «Катя» на долгие годы стала для меня эта страшная, торчавшая из целлулоидной кукольной спины пуговка на веревочке. Именно она, эта маленькая, но смертоносная, как ядерная кнопка, пуговка и звалась Катей.

Шли, как говорится, годы. И однажды мы с другом Смирновым решили поиграть в интересную

игру — в смертную казнь. Это он, он придумал, не я! Честное слово! А я лишь согласился.

В общем, нашли в сарае ржавый ничейный топор. Рядом с сараем обнаружилась колода для колки дров. А кого бы нам казнить, мы долго придумать не могли.

«А давай, — говорит Смирнов, — возьмем у Таньки Белецкой куклу. Все равно валяется без дела за сундуком. Она и не заметит. Она уже давно про эту куклу забыла. У нее новая есть».

Я почему-то не стал рассказывать другу Смирнову о своих особых отношениях с этой валявшейся за сундуком куклой и даже не стал ему сообщать, что мне известно ее имя. Я просто тотчас же, без малейших сомнений и уколов совести согласился лишить ее жизни.

Мы тихонько вытащили из-за сундука эту старую пыльную Катю. Отнесли ее во двор. Отрубили ей голову. Правда, не с одного удара, потому что шея ее была тряпочная, и топор в ней застревал.

Потом от греха подальше утащили куклу вместе с отрубленной головой в угол двора, и закопали там среди лопухов и крапивных зарослей.

Таня и правда ничего не заметила. Она про эту обезглавленную нами Катю, повторившую трагическую судьбу Марии Стюарт, действительно забыла.

52.

Отец Юры Степанова был беззубый,
мать толстая, а сестра придурочная

Про Юриных отца и мать все более или менее правда. А его сестра никакой придурочной не была. Она была, как говорили взрослые, просто «ужасно некрасивой».

Я тогда про красоту ничего особенно не понимал, поэтому просто повторял за старшими — скверными и безжалостными — мальчиками слово «придурочная».

53.

Сестру звали Юля

Ну да, именно так ее и звали, ничего особенного. Просто констатация. Просто, когда я писал текст, постарался вспомнить ее имя. И вот вспомнил.

54.

У меня не было сестры, а был брат

Сестры у меня не было, это чистая правда. И я почему-то слегка завидовал Павлику Аронову, у которого была сестра Зина. Я ее запомнил студенткой. Она шла вечером со станции с рулоном ватмана в левой руке и с мороженым в правой. А ку-

дрявые ее волосы развевались на весеннем ветру. Она шла и неизвестно чему улыбалась.

У меня сестры не было, а был брат.

Вот, что я, например, помню.

Один из первых более или менее теплых дней. Я гулял уже не в шубе, а в длинном, на вырост, пальто с хлястиком.

Уже почти вечер. Стол накрыт. На столе нарезанный сыр с ярко-красной корочкой. Только что мама отдала мне цифру «2», выковыренную изэтой корочки. Я держу эту красивую цифру в руках и думаю, во что бы мне с ней поиграть.

Потом приходят две девочки и три мальчика. Брат открывает им дверь. Они что-то ему говорят и суют в руку что-то, завернутое в оберточную бумагу. Вот книга «Два капитана», вот флакон одеколona, вот перочинный ножик, вот еще что-нибудь.

Брат не очень естественным голосом говорит каждому по очереди спасибо, и все входят в комнату. Девочки слегка одергивают платья, мальчики синхронно достают из нагрудных карманов расчески и причесываются.

На столе, кроме упомянутого сыра, — салат и шпроты. В вазе — яблоки. Из кухни уже пахнет пирогом. Но пирог позже, к чаю.

Еще лимонад, про который мне строго сказано, что он «для гостей». Но мне все равно нали-

ли полстакана, чтобы я смог чокнуться вместе со всеми.

Потом патефон, «Рио-Рита», танцы. Девочки — с девочками, а мальчики вообще не танцуют, стесняются.

Они все уже взрослые, не то что я. Мне четыре года всего, а брату и его гостям целых тринадцать.

Это пятое апреля, день его рождения. Брата уже довольно давно нет на этом свете, а память, ни на что не обращая внимания, как ни в чем не бывало знай себе делает свое дело.

55.

Брат сказал, что сегодня умер Сталин

Я уже совсем большой, мне уже пару недель как шесть лет. Я лежу с очередной ангиной. Я выздоравливаю. Но глотать все еще больно. Мама пошла в аптеку за стрептоцидом, и ее все нет и нет. На этажерке, покрытой кружевной салфеткой, стоит, подмигивая изумрудным глазом, трофейный радиоприемник. Я слушаю все — от гимна до гимна. Но сегодня это все звучит как-то совсем не так.

Нет утренней гимнастики (преподаватель Гордеев, пианист Потапов). Нет «Пионерской зорьки». Не слышно ни баритона Бунчикова, ни тенора Нечаева. Нет ни Буратино, ни Чиполино. Никто не разучивает со мной песню «Эх, хорошо

в стране Советской жить» («А теперь прослушайте этот куплет в исполнении детского хора!»). Никто не загадывает мне загадки («Угадайка, угадайка, интересная игра»).

А куда подевались произведения советских композиторов? А куда делись сами композиторы? Куда делся в тот день композитор Сергей Прокофьев, я узнал много позже — совсем не до него было в те дни.

Ничего нет. В томном блаженстве выздоровления я слышу только очень медленную и ужасно скучную музыку и голос Левитана, знакомый по Первому мая. Но сегодня же не Первое мая! Да и голос совсем не праздничный.

Что случилось? О чем речь? Сталин заболел? Так ведь и я заболел — что ж тут такого? Поболает и встанет.

Да нет, не просто заболел. Да нет, не встанет. Из школы пришел старший брат. Он уже совсем большой, ему пятнадцать. Он уже совсем большой, но он в слезах.

Брат сказал: «Умер Сталин»...

56.

Брат меня ударил, потому
что я смеялся и кривлялся

...И я непонятно отчего начал вдруг ерничать и кривляться. Забыв про большое горло, я стал громким, дурацким, петушиным голосом передразнивать торжественную и скорбную интонацию брата. А он — от страха ли, от чего ли еще — так треснул меня по уху, что я отлетел в угол и заревел тоже. Так мы оплакали нашу общую потерю.

57.

Папа бросил курить

Буквально в этот день папа действительно бросил курить. А до этого я всегда видел его с папирсой в зубах. Курить они бросили вместе — отец и сосед Сергей Александрович, военный летчик в отставке.

58.

Мы мечтали, чтобы скорее была война

Натужный идиотический индюшачий милитаризм последних лет, существенно к тому же поощряемый и подогреваемый телевизионным экраном, не такой уж для меня большой сюрприз.



Потому что в этих наших крикливых «можем-повторителях» я, как ни странно, узнаю самого себя.

Да, самого себя. А также друга Сашу Смирнова. А также друга Юру Степанова. А также еще какого-то друга, чье имя я забыл, а помню лишь то, что это был друг навеки.

Я узнаю нас. Но, что важно, нас примерно в восьмилетнем возрасте. В крайнем случае — в девятилетнем. И никак не позже.

Позже мы уже начали — хотя и с разной скоростью — кое-как взрослеть. Не то что, извините, некоторые.

Но тогда, в один из тех дней, и я отчетливо это помню, мы вчетвером сидели на нагретой солнцем крыше сарая и жевали незрелые кислые яблоки. «Вот хорошо бы война снова началась», — вдруг мечтательно произнес кто-то из нас. «Да, здорово бы!» — почти хором подхватили остальные и стали с жаром обсуждать, как бы мы опять всех победили.

Мы все были детьми фронтовиков. И мы все родились через пару лет после войны. А из этого нетрудно понять, что наши отцы с фронта вернулись. Вернулись с орденами и медалями, с трофейными патефонами и мещанскими картинками в вычурных рамках.

Впрочем, это было не так интересно. А вот полевой бинокль без одного стекла, раскрывающийся в разные стороны офицерский планшет, противо-

газная сумка, зеленая алюминиевая фляжка, военные пуговицы со звездами различного калибра — это, собственно, и были наши игрушки.

Мы были сыновьями выживших фронтовиков, победителей. А мальчики и девочки на три, четыре, пять лет старше нас в большинстве случаев росли без отцов. И я не знаю, мечтали ли они о военных победах так же, как мы. Мне кажется, что вряд ли. Впрочем, они были для нас уже вполне взрослыми людьми со своими вопросами и проблемами, мало нас занимавшими.

Довольно быстрое освобождение от пут нашего младенческого милитаризма связано, мне кажется, было с тем, что книжки о пионерах-героях и о славных полководцах вступали в резкий диссонанс с разговорами дома, с разговорами, из которых недвусмысленно выяснялось, что война — это не только и даже не столько «едут по Берлину наши казаки», сколько слезы, голод, грязь, тоска бесконечных теплушек и смерть — не только красивая и зрелищная, от пули-дуры или штыка-молодца, — но и от голода, но и от кровавого поноса. А уж когда из Ленинграда приезжали мамыны родственники и, понизив голос (это, видите ли, чтобы я не слышал — ага, как же!), рассказывали что-то про блокаду...

Еще, конечно, один важный фактор нашего тогдашнего бытия и быта не мог не повлиять на со-





стояние наших душ. Хотя, надо сказать, повлиял далеко не сразу — слишком уж этот фактор был для нас привычным и — в силу своей тотальности — не слишком даже и замечаемым.

Мы, повторяю, были сыновьями живых фронтовиков, что было уже великой удачей и великим чудом, которые мы в те годы не умели осознать. Но еще бóльшим чудом было то, что и мой отец, и отцы всех тех, кто сидел в описываемый момент на теплой крыше сарая, вернулись с войны с полным комплектом конечностей, вернулись не инвалидами.

А так повезло, прямо скажем, далеко не всем.

Мы были плотно и разнообразно окружены увечными людьми. И мы это не очень-то замечали — это воспринималось едва ли не как норма. Это же было буквально с нашего рождения! Это же было всегда!

А сколько их было во дворе! А сколько их было — поющих и собирающих милостыню — в поездах, на вокзалах, на рынках! А сколько их было — скандалящих и дерущихся — у пивного ларька! А однорукий точильщик ножей на углу? А стекольщик на костылях? А безногий старьевщик на лошади с телегой? А мой дальний родственник Еня на скрипучем протезе? А учитель географии по прозвищу Боцман, который вследствие полученной на фронте контузии иногда заговаривался и вместо геогра-

фических сведений начинал вдруг произносить бессвязные какие-то речи. Над ним не посмеивались. Но не потому что такие уж мы были благородные, а просто потому что привыкли. Потому что такое или примерно такое было почти в каждом доме, в каждой семье, в каждом дворе.

Отец водил меня в баню. Вот где я насмотрелся! Но удивительное дело: до поры до времени — ни ужаса, ни содрогания, ни сочувствия, ни стойкой ненависти ко всему, что маркируется словом «война».

Все это пришло потом, но пришло, слава богу.

59.

Мы любили китайцев

Однажды я прочитал этот текст в Берлине, на международном поэтическом фестивале. Прочитал его вместе с немецкой переводчицей. С уже исправленным «Буяном».

После выступления ко мне подошел пожилой вежливый китаец, поэт, тоже один из участников фестиваля. Оказалось, что этот китаец довольно прилично говорил по-русски. И говорил преувеличенно и даже слегка избыточно вежливо, как это и полагается китайцу.

Он спросил: «У вас в вашем прекрасном, очень красивом произведении есть такая фраза, как

„Мы любили китайцев“. Не будете ли вы столь любезным и не скажете ли, что конкретно вы имели в виду? И кто такие в данном случае „мы“?»

«Мы», объяснил я, это в данном случае советский народ. Дело в том, объяснил я, что в моем детстве в информационном и пропагандистском пространстве нашей страны буквально бушевала и неистовствовала безбрежная горячая дружба с братским китайским народом.

Китайские сказки. Китайские кинофильмы. Раз в день, по радио, с очень специфическим акцентом: «Вы слушаете передачу из Китайской Народной Республики. Вчера уважаемый председатель Мао на собрании актива сельскохозяйственных работников...»

В Москве было очень много китайцев. В основном студенты. Они были очень старательные и вежливые.

Китайские товары — термосы с огромными розами на боку, шелковые покрывала с добродушными драконами, рубашки и плащи «Дружба», кеды «Два мяча», шарики для пинг-понга, ручные фонарики с двумя большими круглыми батареями внутри.

Гостиница и ресторан «Пекин». По вечерам — светящиеся стилизованные русские буквы на крыше гостиницы сменялись на китайские иероглифы. Эти иероглифы в одночасье резко исчезли

в дни даманского кризиса. Помню, что я, заметив это, нервно поежился и подумал, что вот-вот начнется война.

Но это уже потом, в конце 60-х. А тогда, в детстве, — сплошная песня Ваню Мурадели «Москва — Пекин», исполняемая по радио чуть ли не ежедневно.

Чуть ли не ежедневно, а то и чаще, из радио раздавалась эта разудалая, слегка стилизованная под пентатонику, маршевая мелодия, исполняемая большим хором Всесоюзного радио:

Русский с китайцем братья навек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас.

Песня эта возникла в 1949 году, когда двумя самыми главными событиями считались 70-летний юбилей советского вождя и визит в Москву вождя китайского — Мао Цзэдуна.

Мне, уже взрослому, попался в руки старый «Огонек», 50-го, кажется, года. Там был чей-то очерк, посвященный этому духоподъемному маршу. Помню, что я выписал оттуда цитату, показавшуюся мне ярким образчиком того специфического стиля: «В суровых и лаконичных, но острых

взлетах мелодии, в чеканном, сдержанном ритме песни слышится стремительная, нарастающая сила, мужественный пафос труда и борьбы свободных народов».

А поезд «Москва — Пекин»!

«Пошли смотреть „Москву — Пекин“! — кричит Смирнов. — Сегодня как раз!» — добавляет он, не очень понятно для окружающих, но зато очень понятно для меня.

Недалеко от нас — железнодорожная платформа, куда мы иногда, за неимением чего-то более увлекательного в нашей, в общем-то, монотонной и монокромной полудеревенской жизни, ходим гулять.

А раз в два дня, то есть через день, ровно в шесть часов вечера мимо нашей платформы, гудя и пуская пар, почему-то слегка замедляя в этом месте свою торжественную поступь, проходит поезд «Москва — Пекин».

Ох, «Москва — Пекин». Не забыть мне тебя. Я как будто прямо сейчас вижу проплывающие мимо квадратные окошки с собранными по бокам занавесками, а в них — лампочки с оранжевыми абажурами. Я вижу людей, сидящих у этих лампочек. Они, равнодушно позевывая и делая вид, что им все равно, смотрят в окошки, за которыми, потерявшись в зимних сумерках, стою я и смотрю — никак не равнодушно, нет, а с жадным любопытством — на эти лучащиеся теплым светом окна,



стараясь, если не разглядеть, то хотя бы представить себе во всех подробностях этих неведомых счастливых и счастливиц, которые теперь лишь в самом начале большого пути, которым только еще предстоит эта великая радость — сидеть, лежать, читать, есть, пить и вообще жить-поживать за этими окошками. И это будет длиться долго, бесконечно долго, дней десять, наверное, если не больше. А потом ведь еще и обратно, небось! Вот как выглядит настоящее счастье! Вот как!

60.

Мне не разрешали переходить
через дорогу

Мы жили рядом с Ярославским шоссе. Мне было строго запрещено перебегать через дорогу. Но, разумеется, мы носились туда-обратно, потому что на той стороне было очень интересно.

За шоссе начиналась дорога на Водокачку. Это такое было странное место, где действительно находилась водокачка, снабжавшая, как говорили, питьевой водой чуть ли не сам Кремль, а заодно и центр столицы.

Но были там также и несколько жилых домов, где жили семьи тех, кто обслуживал эту водокачку.

На этой Водокачке жил мой школьный приятель Вова Гусев, мальчик хороший и положитель-

ный, но обладавший поразительно писклявым голосом. А его одноногий дедушка умел показывать карточные фокусы и, когда был в настроении, показывал их и нам.

61.

Однажды я чуть не угорел

Павлик Аронов был старше меня на целый год, поэтому я ему слепо доверял. Однажды, когда мы с ним сидели у меня дома, а мама куда-то отлучилась, Павлик предложил сжечь в печке старые газеты, лежавшие стопкой на полу.

Это дело показалось мне привлекательным — разжечь огонь всегда приятно. И вообще — это вроде как взрослое занятие.

Мы напихали кучу газет в топку и подожгли их. А заслонку, конечно, не открыли. И весь дым повалил в комнату.

Очень скоро у меня началась рвота, и Павлик совершенно растерялся. Потом рвота началась и у него. Потом пришла мама, открыла окно и стала ужасно ругаться на нас.

Больше мы никогда так не делали.

62.

Галя Фомина училась в педагогическом институте. Когда я ее спросил, почему идет дождь, она стала объяснять и начала так:

«В нашей стране много морей и рек...»

Дальше я не понял и не запомнил

Это, мне кажется, совсем не нуждается в комментарии. Можно было бы, конечно, сказать, что здесь хорошо заметны устойчивые дидактические приемы и методы, навязываемые в те годы будущим педагогическим работникам. Но зачем?

63.

Саша Смирнов имел привычку
пердеть в помещении

Это да, это правда.

Один мой педантичный и равнодушный читатель-слушатель, из лингвистов, заметил мне, что слово «пердеть» означает скорее производство звука, чем производство запаха. Что беззвучно не пердят, а пердят непременно озвученно. И вообще это слово родственно слову «петарда». А то, что я имею в виду, называется как-нибудь иначе, например «портить воздух».

Скорее всего, так и есть. Но в моем детстве и, главное, в моем окружении словом «пердеть»



обозначались все возможные проявления этого физиологического феномена — хоть звучащие, хоть беззвучные.

64.

Слышно не было, но сильно воняло

Да, довольно заметно.

65.

Он не признавался, что это он

Не только не признавался, но со страстью, честно глядя прямо в глаза, клялся и божился (то есть не божился, конечно, а просто говорил «честное пионерское»), что это не он. И слегка при этом косился, подлец, в мою сторону.

66.

Я учился кататься на велосипеде

Сначала был трехколесный. Именно на таких устраивались гонки по длинным коридорам коммуналок с обязательным сбиванием корыт и наездами на тетю Зою, несущую в вытянутых руках кастрюлю с борщом. Бывали последствия.

Трехколесный велосипед исчезал куда-то вместе с молочными зубами, а взгляд начинал тоскливо

косить в сторону стеклянной витрины магазина «Культтовары», где тебе заговорщицки подмигивал настоящий двухколесный «Прогресс». Или, скажем, ХВЗ.

«Ты помнишь, что такое ХВЗ?» — спросил меня недавно мой однолетка-приятель. Ха, еще бы я не помнил ХВЗ, если именно на этой тяжелой дрыне мой старший брат догонял грузовик на Ярославском шоссе, а грузовик возьми да и затормози, а потом, ясное дело, кровища рекой, свороченный набок нос, а завтра, между прочим, выпускной вечер в школе — ну, в общем, понятно.

Считалось, что ХВЗ перейдет потом ко мне, но ко мне перешло лишь то, что от него осталось, а именно килограммов пятнадцать металла, несколько лет спустя сыгравшие решающую роль в межотрядном соревновании по сбору металлолома.

ХВЗ, кстати, — это всего лишь Харьковский велосипедный завод.

Долго не было у меня велосипеда. Нет денег, негде держать, «исправь сначала тройку по алгебре», то, се...

Но я очень мечтал о нем.

В своих мечтаниях я был близок к галлюцинациям — я как бы чуял свежий запах машинного масла, я слышал шуршание крафтовой бумаги, которую следовало безжалостно ободрать, что-





бы явилось миру во всей своей красе это никелированное чудо.

Я как бы отворял с уютным скрипом кожаную, похожую на кобуру сумочку с гаечными ключами, масленками, кусочками запасной резины. А звонок? А пружинки под скрипучим седлом? А про фонарик забыли, что ли? Ну как же так можно — забыть про фонарик?

Мечтал. Хотя и кататься я толком не умел. Ездил иногда на чужих великах, страшно вихляя и норовя устремиться в ближайшую канаву с лопухами и крапивой.

Садиться на него и слезать с него на ходу, перекидывая ногу через седло, я не научился никогда. А уж о езде без рук вообще не могло быть и речи.

Однажды папа все-таки купил мне велосипед. «Орленок». Шикарная вещь.

Я им пользовался целых три дня. Первые два я посвятил укреплению своих велосипедных умений и навыков. К концу второго дня я обрел, как мне показалось, кое-какое мастерство.

А на третий день я отправился на нем в булочную. Подъехал к булочной, слез не без труда с велосипеда и сказал вертевшемуся рядом пацану: «Я сейчас. Я быстро. Посмотришь?» «Посмотрю, — ответил пацан. — Давай. Иди. Только не долго».

Я и пошел. И это было действительно совсем не долго. Но ему хватило.

Я стеснялся сказать, как меня зовут

В детстве я ненавидал свое имя, стеснялся его, страстно мечтал, чтобы меня звали как-нибудь по-другому.

С чем это было связано? Может быть с тем, что, будучи ребенком мелковатым и тощим, я гордо именовался Львом, то есть буквально царем зверей, что ни в малейшей степени не соответствовало моему самоощущению.

Некоторое, недолгое, впрочем, время я мечтал зваться Петром. Почему именно Петром? Не знаю. Петром и все тут. И даже, помню, знакомясь в детской поликлинике с каким-то сверстником, так я Петром и назвался. Потом, разумеется, последовало неизбежное позорное разоблачение, ибо в какой-то момент подошла моя мама и назвала меня по имени, причем, как легко догадаться, во все не Петром.

Впоследствии оказалось, что не один я такой и что очень многие в детстве испытывали непреодолимое отвращение к собственным именам. Объяснение этого феномена предоставим психоаналитикам, а сами ограничимся лишь констатацией.





68.

Однажды я увидел такую огромную гусеницу, что не могу забыть ее до сих пор

Однажды я увидел такую огромную гусеницу, что не могу забыть ее до сих пор.

Вот, собственно, что мне захотелось рассказать и что я рассказал.

69.

Меня укачивало и рвало

Это было мучительное раздвоение. Я обожал ездить в автомобиле. Но я не мог высидеть там дольше получаса. Меня действительно начинало страшно укачивать, я мучился, бледнел, и в конце концов меня рвало. Мама знала об этом и всегда держала наготове бумажный пакетик наподобие тех, что выдают в самолетах.

70.

Однажды, войдя без стука в комнату Гали Фоминой, я увидел впервые

Эта Галя была девушка веселого нрава. Вокруг нее всегда вились какие-то молодые люди, чаще всего почему-то курсанты летных училищ. Уж не знаю почему. Летчиком в отставке был ее

отец Сергей Александрович. Но это, согласитесь, не очень убедительное объяснение.

Однажды, войдя без стука в ее комнату, я увидел не одетую Галю в объятых не одетого юного летчика и как-то сразу понял, что происходит. Не зря же все-таки мой старший брат тратил время и силы на расширение моего кругозора.

71.

Однажды, одержимый
ужасными предчувствиями,
стремительно вбежал

Ну, тут понятно, что весь фокус состоит в том, что остался не названным сам субъект описываемого события. Также осталось не известным, куда же «стремительно вбежал» этот аноним.

72

Пришли, но с большим опозданием

То же самое. Кто «пришли»? Куда «пришли»?

73.

Всю ночь бушевал ветер,
также была и гроза

Здесь и далее — как бы отчасти зловещий фон для неведомых и не названных, но безусловно мрачных событий. «Также была и гроза» — графоманский канцеляризм. Это нарочно.

74.

Была ужасная погода,
все изменялось и текло

Ну, во-первых, здесь имеет место нарочито туповатый каламбур на тему «все течет, все изменяется».

Шутники тех лет часто говорили: «Все течет, и все изменяется».

Таким, помню, образом непрерывно шутил Сергей Александрович Фомин, наш сосед, военный летчик в отставке.

Если это происходило в присутствии моих родителей, они, как правило, принужденно и коротко смеялись. А я смеялся искренне и с большой готовностью. Я тогда вообще любил все «юмористическое», причем практически без разбора. Все карикатуры в «Крокодиле», все шутки конференсье в эстрадных концертах, транслируемых по те-

левидению, все, что проходило по ведомству юмора и сатиры, радостно и благодарно отзывалось в моей открытой настежь душе.

Кроме этого, здесь неожиданно «прорезалась» метрически организованная речь. Внезапный переход от «прозаической» к «стихотворной» речи и обратно — вообще один из излюбленных приемов моего письма.

75.

Из-за угла повеял ветер,
принес прохладу и тоску

Ну и здесь тоже. Квазиграфоманская квазилирика.

76.

Ударил гром, возникла скука,
смятенье пенилось в груди

И здесь тоже.

77.

Во тьме свистело и сверкало,
град в крышу страшно колотил

И здесь.

78.

Верхушки елей трепетали,
повисли тучи над крыльцом

И здесь.

79.

Вначале было как в начале,
но все закончилось концом

И здесь. «Все закончилось концом» — тоже туповатый каламбур. Как бы для смеха. Впрочем, я неоднократно замечал, что при устном исполнении текста в этом месте действительно часто смеются. Ну и хорошо, пусть.

80.

Все было надо мной, как прежде,
но подо мной шаталась твердь

И здесь.

81.

Кружили, падали и плыли
и уходили кто куда

И здесь. Хотя и опять же остается неясным, кто или что «кружили, падали и плыли». Но это как раз и хорошо, считает автор.

82.

В тот день все было, как обычно

И здесь. Но здесь еще и намек на некоторое как бы начало, причем заметно клишированное, некоего как бы повествования.

83.

Я встал, оделся...

Завершать текст формулами и конструкциями, свойственными не столько финалу, сколько «зачину» текста, я тоже очень люблю. Так, например, мой текст, который называется «Вопросы литературы», заканчивается словами «Впрочем, все по порядку».

Прием сам по себе, конечно, не сказать чтобы совсем уникальный.

Можно вспомнить разное еще.

Например цветаевский «куст, особенно рябину».

Кстати, об этом кусте и особенно рябине.

Была у меня знакомая, ужасно почему-то боявшая коров.

Когда мы гуляли по какому-то дачному месту, а вдалеке лишь обозначалось коровье стадо, она требовала немедленно и радикально менять маршрут.

Я однажды сочинил про нее (и от ее лица) некоторую, не знаю, эпиграмму не эпиграмму, но что-то в таком роде:

Не страшны мне ни львиный рык,
Ни оскорбительное слово.
Но если на дороге бык
Стоит. Особенно корова...

Одним словом, в тот день все было как обычно.
Я встал, оделся...



Ну, вот...

Как сумели, так мы все это дело и прокомментировали.

А теперь давайте все же попробуем прочитать прокомментированный нами текст еще раз. Вдруг в этот раз он окажется хоть немножко другим?

Перечитывание — это вообще особый процесс, особый культурный и, можно сказать, творческий феномен. Перечитывая в разном своем возрасте и в разных жизненных обстоятельствах один и тот же, казалось бы, текст, мы обнаруживаем, что это не вполне один и тот же текст, что это совсем разные тексты, всего лишь похожие друг на друга. Но близнецы ведь тоже похожи между собой до мельчайших деталей, а между тем это разные люди.

В общем, попробуем.

Итак.

1.

Мама мыла раму

2.

Папа купил телевизор

3.

Дул ветер

4.

Зою ужалила оса

5.

Саша Смирнов сломал ногу

6.

Боря Никитин разбил голову камнем

7.

Пошел дождь

8.

Брат дразнил брата

9.

Молоко убежало

10.

Первым словом было слово «колено»

11.

Юра Степанов смастерил шалаш

12.

Юлия Михайловна была строгая

13.

Вова Авдеев дрался

14.

Таня Чирикова — дура

15.

Жених Гали Фоминой — однорукий

16.

Сергею Александровичу
провели телефон

17.

Инвалид сгорел в машине

18.

Мы ходили в лес

19.

У бабушки был рак

20.

Бабушка умерла во сне

21.

Я часто видел бабушку во сне

22.

Я очень боялся умереть во сне

23.

Игорь Дудкин был похож на грузина

24.

Сергей Александрович
шутит с папой

25.

У Сорокиных были сливы,
но был и Джек

26.

Ребята играли в волейбол на полянке

27.

Глеб Вышинский приносил мышь

28.

Володя Волошенко врал

29.

Елена Илларионовна знала
Сашу Черного

30.

То и дело падало напряжение

31.

В кино шел интересный кинофильм

32.

Брат заводил проигрыватель

33.

Папа громко кричал

34.

Буян гремел цепью

35.

Саша Смирнов завидовал,
какие у меня марки

36.

Он умел шевелить ушами

37.

Потом и я научился

38.

Полина Мионовна сказала,
что ее Борька — тупица

39.

Мужа Клавдии Ефимовны звали
Михаил Борисович

40.

Раиса Савельевна работала в сороковом
гастрономе экономистом

41.

Юрка Винников был ее сыном

42.

Ксения Алексеевна была совсем простая,
но очень хорошая женщина

43.

Дом, где жили Павлик и Рита Ароновы,
был соседним

44.

Таня Чирикова, кстати говоря,
тоже жила в этом доме

45.

Имени мужа Райки Гусевой
я, к сожалению, не запомнил

46.

Дул ветер

47.

Брат рассказывал, что делают мама
и папа в соседней комнате

48.

Также росли щавель, редиска
и лук-порей

49.

У Славы Новожилова был шрам
от проволочной клюшки

50.

Пошел дождь

51.

Я боялся куклы Тани Белецкой

52.

Отец Юры Степанова был беззубый,
мать толстая, а сестра придурочная

53.

Сестру звали Юля

54.

У меня не было сестры, а был брат

55.

Брат сказал, что сегодня умер Сталин

56.

Брат меня ударил, потому
что я смеялся и кривлялся

57.

Папа бросил курить

58.

Мы мечтали, чтобы скорее была война

59.

Мы любили китайцев

60.

Мне не разрешали переходить
через дорогу

61.

Однажды я чуть не угорел

62.

Галя Фомина училась в педагогическом институте. Когда я ее спросил, почему идет дождь, она стала объяснять и начала так:
«В нашей стране много морей и рек...»
Дальше я не понял и не запомнил

63.

Саша Смирнов имел привычку
пердеть в помещении

64.

Слышно не было, но сильно воняло

65.

Он не признавался, что это он

66.

Я учился кататься на велосипеде

67.

Я стеснялся сказать, как меня зовут

68.

Однажды я увидел такую огромную
гусеницу, что не могу забыть ее до сих пор

69.

Меня укачивало и рвало

70.

Однажды, войдя без стука в комнату
Гали Фоминой, я увидел впервые

71.

Однажды, одержимый
ужасными предчувствиями,
стремительно вбежал

72.

Пришли, но с большим опозданием

73.

Всю ночь бушевал ветер,
также была и гроза

74.

Была ужасная погода,
все изменялось и текло

75.

Из-за угла повеял ветер, принес
прохладу и тоску

76.

Ударил гром, возникла скука,
смятенье пенилось в груди

77.

Во тьме свистело и сверкало,
град в крышу страшно колотил

78.

Верхушки елей трепетали,
повисли тучи над крыльцом

79.

Вначале было как в начале,
но все закончилось концом

80.

Все было надо мной, как прежде,
но подо мной шаталась твердь

81.

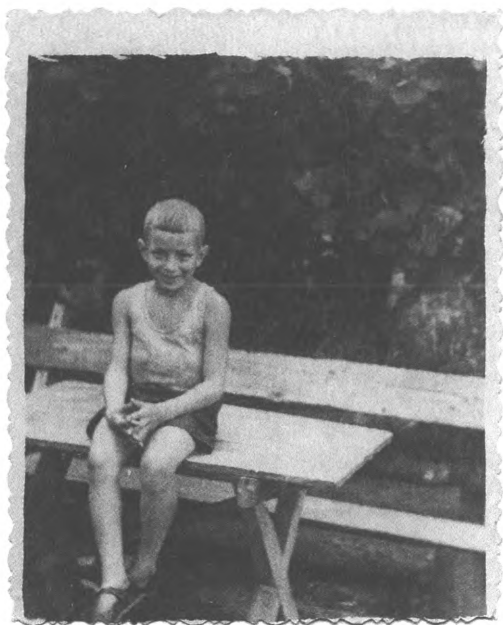
Кружили, падали и плыли,
и уходили кто куда

82.

В тот день все было, как обычно

83.

Я встал, оделся...



Лев Рубинштейн
Мама мыла раму

Выпускающий редактор Татьяна Григорьева
Корректор Светлана Крючкова
Верстка Ильяс Лочинов
Производство Сергей Николаев

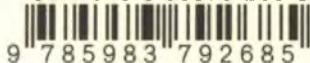
Новое издательство
123022, Москва
Столярный переулок, дом 3, корпус 15
e-mail: info@novizdat.ru
www.novizdat.ru

Подписано в печать 26 января 2022 года
Формат 60x84/16
Гарнитуры Scotch Modern, Figgins Sans
Объем 8,49 условного печатного листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Знак № 30-02/22

Отпечатано в ООО «Центр полиграфических услуг Радуга»
115280, Москва, Варшавское шоссе, дом 28А

«Мама мыла раму» — мемуарная проза Льва Рубинштейна о детстве и отрочестве в форме комментария к его собственному, уже классическому «карточному» тексту 1987 года с тем же названием. Мама мыла раму. Папа купил телевизор. Дул ветер. Зою ужалила оса. И т.д.

ISBN 978-5 98379-268-5



RUSSIAN